

ISSN 2225-5346  
e-ISSN 2686-8989

**БФУ** БАЛТИЙСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА

**IKBFU** IMMANUEL KANT  
BAL TIC FEDERAL  
UNIVERSITY

СЛОВО.РУ:  
БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ

SLOVO.RU:  
BAL TIC ACCENT

2023

Том 14  
Vol.

№ 1

Издательство Immanuel Kant  
Балтийского федерального Baltic Federal University  
университета им. Иммануила Канта Press  
2023

СЛОВО.РУ:  
БАЛТИЙСКИЙ  
АКЦЕНТ  
2023  
Том 14  
№ 1

Калининград :  
Изд-во БФУ  
им. И. Канта, 2023.  
142 с.

Учредитель  
Балтийский  
федеральный  
университет  
им. Иммануила Канта

Редакция  
Адрес: 236022, Россия,  
Калининград,  
ул. Чернышевского, 56

Издатель  
Адрес: 236001, Россия,  
Калининград,  
ул. Гайдара, 6

Типография  
Адрес: 236001, Россия,  
Калининград,  
ул. Гайдара, 6

Издание  
зарегистрировано  
в Федеральной службе  
по надзору  
в сфере связи,  
информационных  
технологий и массовых  
коммуникаций.  
Свидетельство  
о регистрации  
СМИ ПИ  
№ ФС77-46308  
от 26 августа 2011 г.

*Редакционная коллегия*

*Михаил Васильевич Ильин*, доктор политических наук, профессор, НИУ «Высшая школа экономики» — главный редактор (Москва, Россия); *Сурен Тигранович Золян*, доктор филологических наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия) — главный научный редактор; *Алексей Николаевич Черняков*, кандидат филологических наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия) — ответственный редактор; *Наталья Сергеевна Автономова*, доктор философских наук, Институт философии РАН (Россия); *Наталья Михайловна Азарова*, доктор филологических наук, Институт языкознания РАН (Россия); *Хенрик Баран*, Университет штата Нью-Йорк (Нью-Йорк, США); *Томас Венцлова*, профессор, Йельский университет (США); *Дмитрий Веселинов*, доктор филологических наук, профессор, Софийский университет им. Святого Климента Охридского (Болгария); *Ив Гамбье*, доктор лингвистики, профессор, Университет Турку (Финляндия); *Стефано Гардзонио*, Пизанский университет (Пиза, Италия); *Игорь Николаевич Данилевский*, доктор исторических наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Валерий Закиевич Демьянков*, доктор филологических наук, профессор, Институт языкознания РАН (Москва, Россия); *Вера Ивановна Заботкина*, доктор филологических наук, Российский государственный гуманитарный университет (Россия); *Николай Николаевич Казанский*, академик РАН, доктор филологических наук, Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург, Россия); *Максим Анисимович Кронауз*, доктор филологических наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Александр Васильевич Лавров*, академик РАН, доктор филологических наук, Институт русской литературы РАН (Россия); *Михаил Юрьевич Лотман*, профессор, Таллинский университет, Тартуский университет (Эстония); *Иван Борисович Микиртулов*, доктор философских наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия); *Владимир Александрович Плунгян*, доктор филологических наук, академик РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Россия); *Джеймс Расселл*, профессор, Гарвардский университет (США), Иерусалимский университет (Израиль); *Игорь Витальевич Силантьев*, доктор филологических наук, Институт филологии СО РАН (Россия); *Игорь Павлович Смирнов*, профессор, Констанцский университет (Германия); *Питер Стайнер*, профессор, Университет Пенсильвании (США); *Су Кван Ким*, Университет иностранных языков Хангук (Сеул, Южная Корея); *Григорий Львович Тульчинский*, доктор философских наук, НИУ «Высшая школа экономики» (Россия); *Татьяна Валентиновна Цвигун*, кандидат филологических наук, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Россия); *Цзиньлин Ван*, Чанчуньский университет КНР (Чанчунь, Китай); *Татьяна Владимировна Черниговская*, доктор биологических наук, доктор филологических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук, распоряжением Минобрнауки России от 12 февраля 2019 г. №21-р, а также в список журналов, индексируемых в Russian Science Citation Index на платформе Web of Science, Scopus, ядро РИНЦ.

Подписной индекс 36836  
Тираж 300 экз.  
Дата выхода в свет 09.02.2023 г.

SLOVO.RU:  
BALTIC ACCENT  
2023  
Vol. 14  
№ 1

Kaliningrad :  
I. Kant Baltic Federal  
University Press, 2023.  
142 p.

*Founders*

Immanuel Kant Baltic  
Federal University

*Address*

14 A. Nevskogo St.,  
Kaliningrad, Russia,  
236016

*Editorial office*

56 Chernyshevskogo St.,  
Kaliningrad, Russia,  
236022

*Publishing house*

6 Gaidara St.,  
Kaliningrad, Russia,  
236001

The opinions expressed  
in the articles are private  
opinions of the authors  
and do not necessarily  
reflect the views  
of the founders  
of the journal

Mass Media  
Registration Certificate  
PI № FS77-46308,  
on 26 August, 2011

*Editorial board*

Prof. *Mikhail V. Ilyin*, National Research University Higher School of Economics – Editor-in-Chief (Moscow, Russia);  
Prof. *Suren T. Zolyan*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia) – Scientific Editor; Dr *Alexey N. Chernyakov*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia) – Executive Editor-in-chief;  
Prof. *Natalia S. Avtonomova*, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Nataliya M. Azarova*, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Henryk Baran*, State University of New York Albany (New York, United States); Prof. *Tatiana V. Chernigovskaya*, Saint-Petersburg State University (Russia); Prof. *Igor N. Danilevskii*, National Research University Higher School of Economics (Russia); Prof. *Valerii Z. Demyankov*, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); Prof. *Yves Gambier*, University of Turku (Finland); Prof. *Stefano Garzonio*, Università di Pisa (Pisa, Italy); Prof. *Nikolai N. Kazansky*, academician, the Russian Academy of Sciences, Institute of Linguistic Research (Saint Petersburg, Russia); Prof. *Soo Hwan Kim*, Hankuk University of Foreign Studies (Seoul, South Korea); Prof. *Maxim A. Krongauz*, National Research University Higher School of Economics (Russia); Prof. *Alexander V. Lavrov*, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Mikhail Yu. Lotman*, Tallinn University, University of Tartu (Estonia); Prof. *Ivan B. Mikirtumov*, Saint-Petersburg State University (Russia); Prof. *Vladimir A. Plungyan*, Full Member of the Russian Academy of Sciences, V.V. Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *James R. Russell*, Harvard University (USA), the Hebrew University of Jerusalem (Israel); Prof. *Igor V. Silantyev*, Institute of Philology, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Russia); Prof. *Igor P. Smirnov*, University of Konstanz (Germany); Prof. *Peter Steiner*, University of Pennsylvania (United States); Dr *Tatyana V. Tsvigun*, Immanuel Kant Baltic Federal University (Russia); Prof. *Grigorii L. Tulchinskii*, St. Petersburg School of Social Sciences and the Humanities, National Research University Higher School of Economics (Russia); Prof. *Tomas Venclova*, Yale University (USA); Prof. *Dimitar Vesselinov*, Sofia University 'St. Kliment Ohridski' (Bulgaria); Prof. *Jinling Wang*, Changchun University (Changchun, China) Prof. *Vera I. Zabolotkina*, Russian State University for the Humanities (Russia)

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редакции</i> .....	6
ГОРОД В ТЕКСТЕ И ГОРОД КАК ТЕКСТ	
<i>Жданов С. С.</i> Идиллия, история, рациональность: образы городов в «Действительной поездке в Германию в 1835 году» Н. И. Греча .....	8
<i>Голомидова М. В.</i> Екатеринбург – Свердловск – Екатеринбург: образ города в динамике топонимического текста.....	29
<i>Гриневич О. А.</i> Семиотическая репрезентация Минска в романе В. Мартиновича «Мова» .....	54
<i>Ионов З. Х.-М.</i> Экстралингвистические факторы переименований городов в Карачаево-Черкесской Республике.....	66
СЛОВА, СМЫСЛЫ, ДЕЙСТВИЯ: ПРАГМАСЕМАНТИКА И СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ	
<i>Чернявская В. Е.</i> «Парадную они называют подъезд»: социальное значение в семантике и метапрагматике .....	72
<i>Золян С. Т.</i> Семиотический <i>перпетуум мобиле</i> в действии: ОМОН, омонимы и антонимы.....	86
<i>Молодыхенко Е. Н.</i> Уровни контекста: как анализ текста становится анализом дискурса? (на материале новых лайфстайл-медиа в сети Интернет).....	107
<i>Заботкина В. И., Боярская Е. Л.</i> Концептуальная структура бинарной аксиологической оппозиции <i>истина – ложь</i> .....	126

## CONTENTS

<i>From the editor</i> .....	7
CITY IN TEXT AND CITY AS TEXT	
<i>Zhdanov S. S.</i> Idyll, history, rationality: city images in “Real Journey to Germany in 1835” by Nikolay Gretsch.....	8
<i>Golomidova M. V.</i> Ekaterinburg – Sverdlovsk – Ekaterinburg: the city image in the dynamics of a toponymic text .....	29
<i>Grinevich O. A.</i> Semiotic representation of Minsk in Viktor Martinovich’s novel “Mova” .....	54
<i>Ionov Z. Kh.-M.</i> Extralinguistic factors of city renaming in the Karachay-Cherkess Republic .....	66
WORDS, MEANINGS, ACTIONS: PRAGMASEMANTICS AND MEANING FORMATION	
<i>Chernyavskaya V. E.</i> “They call the main entrance a porch”: social meaning in semantics and metapragmatics.....	72
<i>Zolyan S. T.</i> The semiotic <i>perpetuum mobile</i> in action: OMON, homonyms and antonyms.....	86
<i>Molodychenko E. N.</i> Levels of context: how textual analysis becomes discourse analysis: the case of Internet lifestyle media .....	107
<i>Zabotkina V. I., Boyarskaya E. L.</i> Conceptual structure of the binary axiological opposition <i>truth – lie</i> .....	126

## ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаемый читателю номер продолжает как тематику предыдущих лет, так и курс на ее раскрытие с трансдисциплинарных позиций. Первый раздел «Город в тексте и город как текст» — продолжение темы, которой был посвящен предыдущий выпуск журнала (2022, т. 13, №4). Статьи этого раздела не были включены в него, поскольку интерес к теме оказался значительным, а количество присланных статей превысило объем издания. Однако в содержательном плане они составляют с ним единое целое и дополняют его, рассматривая новые регионы, традиции и методы описания. Так, с одной стороны, выявлены лингвосемиотические характеристики отображения города в тексте (О. А. Гриневич и С. С. Жданов), с другой — продемонстрированы особенности воздействия социокультурных и политических факторов на процессы топонимической номинации применительно к различным историческим эпохам (М. В. Голомидова и З. Х.-М. Ионов).

Второй раздел продолжает кардинальную для журнала тему — описание смысловых потенций слова в изменяющихся социальных и когнитивных системах. В разделе «Слова, смыслы, действия: прагматика и словообразование» представлены описания различных модусов и операций взаимодействия системы и контекста. Они характеризуются с различных методологических позиций посредством синтезирующих методов социальной семиотики, дискурс-анализа, концептологии, а также логико-семантических моделей. Основу раздела составили статьи, подготовленные исследователями Балтийского федерального университета им. И. Канта в рамках поддержанных РФФИ проектов №22-18-00591 и 22-18-00594.

## FROM THE EDITOR

This issue of SLOVO continues the themes of the previous years and reflects the transdisciplinary approach to research. The first section, *City in Text and City as Text*, is a follow-up to the theme of the previous issue of the journal (2022, vol. 13, no. 4). The articles of this section were not included in the previous issue since the interest in the topic stirred considerable interest and the number of submitted articles exceeded the volume of the journal. However, content-wise, they constitute a whole with it and complement it by examining new regions, traditions, and methods of description.

In this issue of SLOVO, the linguistic and semiotic features of the representation of the city in the text are explored (Olga A. Grinevich and Sergey S. Zhdanov), and the specific influence of socio-cultural and political factors on toponymic nomination processes as applied to different historical epochs is shown (Marina V. Golomidova and Zauval Kh.-M. Ionov).

The second section continues the central topic of the journal – the description of the semantic potential of the word in changing social and cognitive systems. The section "Words, meanings, actions: pragmasemantics and meaning formation" presents descriptions of various modes and operations of interaction between the system and the context, which are described from different methodological positions by synthesizing the methods of social semiotics, discourse analysis, conceptual semantics as well as logical-semantic models. The section is based on articles prepared by researchers from I. Kant Baltic Federal University within the framework of the Russian Science Foundation projects No. 22-18-00591 and 22-18-00594).

# ГОРОД В ТЕКСТЕ И ГОРОД КАК ТЕКСТ

---

УДК 821.161.1

## ИДИЛЛИЯ, ИСТОРИЯ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ: ОБРАЗЫ ГОРОДОВ В «ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКЕ В ГЕРМАНИЮ В 1835 ГОДУ» Н. И. ГРЕЧА

*С. С. Жданов*

Сибирский государственный университет геосистем и технологий  
Россия, 630108, Новосибирск, ул. Плеханова, 10;  
Новосибирский государственный технический университет  
Россия, 630073, Новосибирск, просп. К. Маркса, 20  
Поступила в редакцию 03.06.2022 г.  
Принята к публикации 15.11.2022 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-1

В статье рассматриваются образы немецких городов Любека и Гамбурга, представленные в путевых письмах Н.И. Греча «Действительная поездка в Германию в 1835 году». Установлена связь данных образов с традицией описания Германии как идиллического пространства в русской литературе конца XVIII – первой половины XIX века. Любек и Гамбург в греческом тексте маркированы идиллическостью, но в разной степени. Локус Любека – это гомогенная «патриархальная» и ахронная идиллия, статичное пространство, представляющее нарратору застывшим в Средневековье. В отличие от Любека, Гамбург изображен крупным современным динамичным городом, то есть модернизированной идиллией. Более того, его упорядоченность выходит за рамки идиллии и обусловлена рациональной организацией пространства, которое характеризуется гетерогенностью. Во-первых, выделены идиллические сублокусы, где основная роль принадлежит демиприродным образам сада, парка, гульбища. Во-вторых, охарактеризованы утилитарно-рациональные сублокусы биржи, пристани, канала. Также определены сублокусы, маркируемые как идиллическостью, так и рациональностью (например, детский приют, богадельня). Наконец, в качестве третьего пространственного типа идентифицированы маргинальные сублокусы заведений для моряков, связанные с мотивами неупорядоченности – пьянства, разврата и т. п.

**Ключевые слова:** образ города, Любек, Гамбург, Германия, травелог, идиллия, Н.И. Греч, русская литература

### Введение

Огромная значимость Германии для России нашла отражение во множестве текстов русской словесности, породивших в дальнейшем литературоведческую рефлексию, направленную на осмысление феномена немецкости в русской литературе и, шире, культуре как семиотических системах. Одним из направлений анализа этого феномена выступили исследования, посвященные проблематике образов немцев и немецкого пространства в отечественной литературе. В качестве





примеров подобного анализа можно назвать работы зарубежных (Müntjes, 1971; Boden, 1982; Энгель, 2007) и отечественных (Оболенская, 2000; Lebedeva, Yanushkevich, 2000; Asadowski, Lavrov, 2006; Морозова, 2008; Ильченко, Аксенова, 2016; Жданов, 2019) авторов. В свою очередь, частный вариант репрезентации пространства Германии в русской литературе — образы немецких (и бывших немецкими) городов — также выступает объектом исследования (Ильченко, Пепеляева, 2015; Далкылыч, 2015; Жданов, 2017; Пауткин, 2017).

Несмотря на наличие этих и многих других работ по пространственности Германии в русской словесности, в данном исследовательском поле еще наблюдаются лакуны, во многом обусловленные объемом отечественного текстового материала, связанного с немецкостью. В частности, еще недостаточно изучен образ Германии в творчестве Н. И. Греча, автора не только эпистолярного романа «Путешествие в Германию», но и произведений в рамках путевой прозы. Одно из последних — травелог «Действительная поездка в Германию в 1835 году» (другой вариант названия «28 дней за границу, или Действительная поездка в Германию Николая Греча») выступает материалом нашего исследования.

Следует отметить, что хотя эти путевые письма и анализируются, например, в вышеуказанной работе Н. М. Ильченко и М. В. Аксеновой, данное произведение рассматривается ими наряду с иными гречевскими текстуальными источниками. Кроме того, в статье речь идет об образе Германии в целом, представляя последний лишь в общих чертах. В этом смысле наша работа может рассматриваться в качестве дополнения и углубления темы «германской» пространственности в текстах Греча и сосредоточена преимущественно на образах двух немецких городов в «Действительной поездке...», а именно Любека и Гамбурга. За рамки данного исследования выведен образ Берлина.

При этом наш анализ требует ряда предварительных замечаний, в рамках которых образы немецких урбанистических локусов рассматриваются как мезоуровень репрезентации немецкой пространственности по отношению к макроуровню — образу Германии в целом.

Город является семиотически «богатым» объектом, выступающим значимым элементом пространственной структуры текста. В частности, согласно В. Г. Шукину, «образ города как целого тоже может послужить метафорой, например, в соответствии с древней традицией отождествления города и мира, микро- и макрокосма», актуализируясь в тексте в качестве модели «“мандалного”, идеально упорядоченного, гармоничного мира», противопоставленного «хаосу, недостатку цивилизованности по ту сторону городских стен» (Шукин, 2014, с. 16).

Отметив эти значимые для локуса города характеристики, выраженные через оппозиции «внутренний — внешний» и «упорядоченный — хаотический», перейдем на макроуровень организации «германского» пространства в тексте, который также может быть обозначен термином «мирообраз Германии» (Lebedeva, Yanushkevich, 2000). В последнем весьма значительное место занимает идиллический элемент (Жданов, 2019, с. 44). С одной стороны, он инспирирован сентимента-



листским нарративом, в рамках которого стремящийся к созерцательному наслаждению повествователь склонен выискивать идиллию облагороженной природы где только возможно. С другой — сама пространственная природа раздробленной на множество земель (до второй половины позапрошлого века) Германии провоцирует замыкание взгляда путешественника-нарратора на закрытых упорядоченных и уютных локусах — всевозможных немецких городках, деревеньках и местечках: «...образ идиллической (или же туманно-романтической) Германии просуществует в русской культуре примерно до середины XIX, до того момента, как “мозаика” отдельных малозначимых в европейской политике немецких земель начнет складываться в образ единой милитаристской империи» (Жданов, 2019, с. 49). Соответственно, множество текстов русской словесности указанного периода транслируют идиллическую упорядоченность в качестве основной характеристики (или мотива с литературоведческой точки зрения) германского пространства.

Таким образом, возникает целый ряд вложенных друг друга подобных пространств, где немецкий город изоморфен Германии, выступая своего рода синекдохой германского мира. В свою очередь, урбанистические сублокусы (улицы, площади, дома, городского сада и т.п.) на пространственном микроуровне также транслируют сходное значение упорядоченности-идилличности. Исходя из этой предпосылки, рассмотрим конкретные локальные варианты актуализации мотива упорядоченности в тексте «Действительной поездки...».

### Любек как ахронная идиллия

Любек выступает в гречевских путевых письмах как центр упорядоченности, окруженный неупорядоченным, опасным или неудобным пространством. Так, «странствие» на пароходе по реке Трава из Травемюнде в Любек, хотя длится два часа, является, по мнению автора, «скучнее, затруднительнее и даже опаснее четырехсуточного плавания» по морю из Петербурга до границ Германии, поскольку «в Траве много отмелей и вбитых в реку свай, которых должно было рачительно избегать»<sup>1</sup> (с. 238). Но и сухопутный путь из Любека в Гамбург маркирован мотивом неудобства:

Выехав из Любека, мы катились версты две по хорошему шоссе; но вдруг белый с красными полосками шлагбаум возвестил нам о вступлении нашем в Датские владения... Пошли толчки, пинки. Дорога в некоторых местах не вымощена, а выложена по середине крупным булыжником, который очень часто расступается под колесами и накренивает экипаж. Едучи же краем, того и смотри, что опрокинешься в канаву (с. 248).

При этом Любек — эксцентрический и лиминальный локус не только в том смысле, что находится на условной границе между морем и

<sup>1</sup> Здесь и далее цитаты приведены по изданию (Греч, 1838) с указанием номера страницы в круглых скобках. Орфография и пунктуация цитат приближены к современным.



землей, но и в силу своего геополитического значения. На момент написания травелога он был вольным германским городом, тогда как Голштиния принадлежала датчанам. Отсюда мотив противостояния датского и немецкого (прусского) элементов, актуализированный в пространстве дороги: «Самые дурные дороги в северной Германии пролегают по датским владениям. ...из Берлина едешь в Гамбург, чрез Пруссию и мекленбургские владения, по прекраснейшему шоссе, но с Бойценбурга начинается головоломная езда чрез Лауэнбургскую область, принадлежащую Дании, и продолжается до начала Гамбургской земли... Жители пограничных Датских областей боятся лишиться дохода за провоз товаров чрез их местечки, когда Ганзейские города будут иметь между собою и Пруссию легкое и удобное сообщение» (с. 249). В связи с этим раздробленность и суженность немецкого пространства противопоставляется русскому простору: «Странно нашему брату... ездить по этим чрезполосным владениям! Привыкши к нашему русскому раздолью, никак не можешь вместить в голову мысль, что... на этом конце аллеи царствует Фридрих VI, а на другой Господин бюргермейстер Абендрот» (с. 292). Заметим также, что, несмотря на формальный датский статус, перед нами за пределами локуса ужасной дороги предстает все та же идиллическая изобильная и визуально привлекательная рустикальная Германия в ее голштинском варианте: «...любовались мы сельскими усадьбами по дороге. Опрятные домики, с светлыми окнами, окруженные садами, в которых цветут пышные розы, казались нам не крестьянскими избами, а загородными домами зажиточных граждан» (с. 248). Кроме того, подчеркнем, что эксцентричный локус Любека в греческом тексте лишен эсхатологического элемента в отличие, например, от локуса Петербурга в русской литературе. Как представляется, это связано с закрытостью и ахронностью любекской идиллии. Петербургский текст в целом неидилличесен, имперская столица — место, открытое как на Восток, воплощенный просторами России, так и на Запад — «окно в Европу». В этом смысле закрытому, «анклавному» Любеку легче сопротивляться влиянию внешнего хаотического, энтропийного пространства.

В описании самого Любека идиллический элемент оказывается непосредственно связанным с историческим. Здесь не просто «городская архитектура хранит в себе живой образ старины» (Шукин, 2014, с. 15), но весь город представляет собой «хрономобиль», переносящий путешественника-наблюдателя в немецкое Средневековье с его готической застройкой: «Улицы узкие. Дома высокие с узорчатыми крышами. Все что-то старинное, дикое, готическое» (с. 238). Своей ахронностью Любек контрастирует с современностью XIX столетия, оставшейся за границами локуса. В связи с резкостью этого перехода в тексте актуализируются три характерных мотива, маркирующих ощущение нереальности / инореальности созерцаемого. Во-первых, это мотив города-картины. Любек представляется русскому писателю как «картина патриархальной Германии во всей своей прелести» (с. 239). Горожане же кажутся сошедшими с полотен мастеров Северного Возрождения: «...здесь, в Любеке, между самым простым народом найдете лица, со-



вершено схожие с теми, которые за несколько сот лет писаны Гольбейном и Кранахом» (с. 240). Сходные ощущения возникают у Греча при выходе из любекской соборной церкви, где он наблюдал картины<sup>2</sup>, приписываемые Гансу Гемлингу<sup>3</sup>: «На лугу играли миловидные дети; торговцы и торговки проходили по улице; на площадке учился взвод солдат. Мне чудилось... что изображения, виденные мною в церкви, сняты не за триста или четыреста лет пред сим, а третьего дня, вчера, сегодня, с этих самых лиц, которые теперь мне встречаются» (с. 246).

Подобная ориентированность на восприятие реальности Германии как идиллического зрелища, то есть преломленной через эстетику изящного визуальности, часто встречается в сентименталистском нарративе<sup>4</sup> (например, в карамзинских «Письмах русского путешественника»). В этом плане следует согласиться с мнением В. В. Мароши об «идеальном ландшафте» в русском травелоге XIX века как «прежде всего "приятном месте" ("locus amoenus")», вызывающем в путешественнике «специфическую эмоциональную и эстетическую рефлексии красоты» и обеспечивающем «комфортность его локального передвижения и обустройства» (Мароши, 2016, с. 38). Попав в такой локус, Греч предаётся визуальной практике фланера, «бескорыстному созерцанию», особому «интересу ко всему окружающему, который довлеет себе» (Анциферов, 2014, с. 333).

Во-вторых, перемещение в ахронный Любек актуализирует в тексте мотив «волшебного путешествия»<sup>5</sup>: «Я был перенесен, как бы действием волшебного жезла, из нашего юного, великолепного, светлого Петербурга<sup>6</sup> в средину старинной Ганзы, живой донине своими нравами,

---

<sup>2</sup> В синкретично-ахронном пространстве Любека перемешаны не только времена, но и живое и неживое. Горожане становятся элементами городской панорамы, а в экфрасисе картин подчеркивается их чрезвычайное жизнеподобие: «Я долго... разглядывал их подробности, разнообразные, мелкие, богатые. Каждая травка отделана, как на картинках в Естественной Истории» (с. 246).

<sup>3</sup> Так в тексте Н. И. Греча. Вероятно, имеется в виду алтарный триптих Ганса Мемлинга из Любекского собора.

<sup>4</sup> Как подчеркивает В. В. Мароши, в русских травелогах «сентиментально-идиллический ландшафт» «первой трети XIX в.» сохраняет «актуальность на протяжении всего столетия» (Мароши, 2016, с. 37).

<sup>5</sup> К этому мотиву Греч прибегает не раз в «германских» фрагментах своих травелогов. Так, пароход, позволяющий за четыре дня добраться из Петербурга в Гамбург, уподоблен «коврику-самолету» (с. 249). Ср. также с описанием Рейна из гречевского травелога 1817 года: «Вдруг, будто действием волшебства, вся страна получила другой вид; из средины гор вышли мы на открытое место...» (с. 157).

<sup>6</sup> Следует отметить, что, взглядываясь в пространство «чужого», сравнивая Любек с русскими городами, Греч, как многие отечественные авторы, пытается найти что-то «свое», родное в любекском «чужом». Так, описывая в соборной церкви бронзовую купель, покрытую «множеством обронных изображений», автор замечает в них «некоторое сходство с Новгородскими вратами» (с. 245). Далее Греч развивает тему «новгородского следа» в любекской истории («...Любек вошел в мирные торговые сношения с Новым-городом. Донные есть в Любеке Новгородская Контора...»), в результате чего город, как «хрономобиль»,



обычаями и поверьями» (с. 238). В этом же фрагменте фиксируется противопоставление Любека и Петербурга на основании антропной, по сути, оппозиции «юность — старость».

В то же время эта старость Любека не означает дряхлость и моральность. В циклическом мирке идиллии с его непрерывной связью поколений историческое прошлое присутствует в настоящем, остается живым: «Предо мною возвышался ряд домов высоких, узких, островерхих, с разнообразными вычурными украшениями и надписями о построении и возобновлении их в XV и XVI веке, но чистых, милостивых, уютных» (с. 239). Темпоральная синкретичность выражена также в соседстве на улице разных поколений (детей, взрослых, стариков) и в описании «солдат ганзеатического легиона»: «...не те старинные карикатуры, которыми славились имперские города во время оно. Выправка их... не наша молодецкая, но они бодры, поворотливы...» (с. 242).

В-третьих, ахронный Любек маркируется мотивом театральности: «Точно будто я вошел в Михайловский Театр, и поднялась завеса в немецком представлении!» (с. 238). Городская улица в этом смысле уподобляется в пространственном описании театральной сцене с множеством горожан-статистов:

Вот растворяется широкая дверь в нижнем жилье одного дома; выходит чистенькая, в белом чепчике, старушка, садится на скамейке подле ворот, под густою липою, вынимает из корзиночки чулок, и начинает вязать<sup>7</sup>, поглядывая на прохожих, а их было еще немного: школьник с книгами под мышкою, служанка с плетеною на руке корзинкою, водонос с полными ведрами. Но вот является знакомка: обе почтенные гражданки раскланиваются; старушка приглашает новоприбывшую занять место подле нее; они садятся друг подле друга, и быстрые движения губ их, едва поспевающих за движением чулочных спичек, доказываюшь, что время у них не проходит по-пустому. Улица оживляется более и более: отпираются дома, лавки; изо всех ворот и дверей выходят служанки, и начинают чистить и обмывать мостовую (с. 239 — 240).

---

переносит писателя на городские улицы не только средневековых немцев, но и новгородских купцов: «Я шел домой медленно, поглядывая по обе стороны улицы на готические дома, в которых жилали наши новгородские бородачи посреди древних любекских граждан, красовавшихся в черных мантиях, с белыми брыжами...» (с. 247). Также в качестве акта «освоения» нарратором локуса города упоминается факт, что Любек основали славяне и поэтому он «заслуживает внимания северного, Русского путешественника и в историческом отношении» (с. 246).

<sup>7</sup> Вязание есть атрибут типажной «доброй немки» в русской литературе. В тексте «Действительной поездки...» Греч неоднократно обращается к мотиву вязания, объединяющему таким образом пространства Любека и Гамбурга как немецкие: в гамбургском вдовьем доме «...старушки... вяжут чулки...» (с. 275); в загородном театре под Гамбургом «зрительницы среднего состояния» (с. 295) одновременно вяжут чулок, глядят на сцену и прихлебывают чай или кофе, стоящие перед ними на столиках. Заметим, что здесь авторский смех над совмещающими работу и отдых бюргершами весьма благодушен, поскольку речь идет о «патриархальной» простоте нравов, свойственной идиллии.



Перед нами разворачивается, по сути, городская идиллия, где любекцы уже не люди, а скорее наделенные типажными чертами персонажи, не индивиды, а часть синкретичного пространства. Кроме того, вид чистящих мостовую «опрятненьких, беленьких» «служаночек» вызывает у Греча сожаление, «что не берут отсюда на наши театры статисток для немых ролей» (с. 240).

Здесь в концентрированной форме предстает также мотив чистоты, связанный с мотивом привлекательности идиллического локуса. В другом любекском эпизоде упомянуты улицы, «приятные на взгляд опрятностью» (с. 242), то есть субъекты сходны в этом плане с объектами, горожане — с городским пространством. Сравните также с мотивом почтенности, общим для образов старушек и локусов: «почтенные гражданки» (с. 240), улицы и площади города, «почтенные своею неподдельною стариною» (с. 240).

Итак, любекский текст Греча воспроизводит устойчивый ряд мотивов, связанных с идиллическим локусом: чистота, уют, миловидность.

К ним же относится и мотив упорядоченности, временной (заикленность жизни, ее неизменность) и пространственной (все находится на надлежащих местах). Так, описывая устройство любекского дома, автор упоминает «ургийный» локус *Hausflur*, «род сарая, или больших сеней», где «хозяин обыкновенно занимается своим ремеслом, производятся многие домашние работы, лежат громоздкая вещи и т. п. Опрятность и порядок там удивительные» (с. 240). Демиприродность идиллии дома выражается в наличии при нем «небольшого садика» (с. 240).

К идиллическому ряду может быть отнесен и мотив миниатюрности немецкого пространства, выраженный через употребление прилагательного «небольшой», а также существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «садик», «корзиночка», «служаночки».

Наконец, идиллия характеризуется бесконфликтностью, отсутствием опасности. В Любеке «все двери стоят настежь», потому что «воровство» здесь «вещь почти вовсе неслыханная и... полиция совершенно ограждает мирных жителей» (с. 241–242). Кроме того, сглажены в пространстве города и религиозные конфликты, что актуализировано в описании церкви Св. Марии: «Эта церковь... построена во время владычества Католического Исповедания, но в ней нет следов того пуританского фанатизма, с которым католические храмы превращены в протестантские в Женеве и Лозанне. Католические образа, изваяния, надписи сохранились в целости и тщательно поддерживаются. Изменена только форма престола, и вынесены исповедные... Таким образом, в здешних церквях уцелели многие достопамятности средних веков, истребленные в других странах протестантских» (с. 243).

Небольшие изменения средневекового порядка касаются также локуса погреба городского совета, «необходимой принадлежности всякой Германской ратуши»: здесь «хранилось, в течение столетий, заповедное вино и отпускалось только при больших случаях и для больных. В нынешние времена это просто погреб, как и всякой другой» (с. 242–243). В церкви Св. Марии модернизированы «астрономические часы, сооруженные в 1405 году неизвестным художником, исправленные потом по



системе Коперника и в 1809 снабженные столетним календарем» (с. 243–244). Все остальное неизменно, что выражает образ движущихся фигур этих часов: каждый день в полдень «курфирсты бывшей Римской Империи» продолжают кланяться императору (с. 244). Не прекращается танец мертвых на церковной картине, любопытной «особенно потому, что дает точное понятие о костюмах средних веков» (с. 244). Погружая читателя в атмосферу «седой старины» Любека, Греч также пересказывает легенду, связанную с гербом города, участниками которой выступают волшебный олень с драгоценным ожерельем, Карл Великий и герцог Генрих Лев.

### Гамбург как осовремененная идиллия

Если относительно небольшой старинный Любек изображен в «Действительной поездке...» ахронной идиллией, то в описании современного делового Гамбурга немецкая пространственная идилличность неизбежно претерпевает изменения. Эта темпоральная оппозиционность Любека и Гамбурга фиксируется самим автором: «Первый взгляд на Любек возбуждает в путешественнике воспоминания о почтенной старине, а картина Гамбурга, деятельного, шумного, обновленного, радует настоящим» (с. 251).

Идиллией в прямом смысле можно назвать различные демиприродные гамбургские пространства, в частности городские предместья, то есть периферийные локусы. Их, как и любекское пространство, характеризуют мотивы чистоты, света, покоя, семейности, привлекательности и миниатюрности: «...пошли загородные домики, составляющие предместье Гамбурга... Из-за чистых окон, уставленных цветочными горшками, светятся огни. Перед домами тянутся рядом густые липы. Какое-то выражение тишины, спокойствия и довольства выглядывало из каждого окна» (с. 249); «Предместия Гамбурга состоят из непрерывного ряда невысоких домов... необыкновенно опрятных и уютных. Из-за светлых стекол в окне видны товары или произведения жилья... У другого окна сидит хозяйка в чистом платье, в беленьком чепчике; вокруг нее играют миловидные, здоровые дети; на окне пышные розы; в клетке канарейки... Улицы хорошо вымощены, ежедневно выметены» (с. 267). При этом сам автор на эксплицитном уровне фиксирует смешение в своем сознании образов реального, наблюдаемого пространства и литературного пространства идиллии: «Прогуливаясь по предместью Святого Георгия, я воображал себя перенесенным в город, построенный на основании Геснеровых идиллий» (с. 267). Помимо вышеозначенного предместья, в «Действительной поездке...» названо еще несколько знаковых идиллических локусов («гульбищ и окрестностей Гамбурга» (с. 284)): местность по внешнему Альстеру и около принадлежащего на тот момент Дании города Альтоны, Ренвилев сад, Флоттбек, Ниенштедтен, сад Баура в Докенгудене, деревни Эмсбюттель, Эппендорф, Бланкенеце. Причем деревни, за исключением последней, изображены как не рустикальный, а субурбальный ландшафт: «Не говорю, сельскими видами: здесь, как и в других ближайших окрестно-



стях Гамбурга, преобладают загородные дома гамбургских патрициев, банкиров, негоциантов; везде можно найти чистые и обильные земными благами гостиницы» (с. 284–285). Сюда «ежедневно» приезжают «изо всех ворот города» «большие фуры, наполненные хорошо одетыми людьми»; «здесь можно нанять, за небольшую плату, очень хорошенький летний домик» (с. 285). Все эти локусы наделены комплиментарными характеристиками: «гульбища и окрестности» «прелестны и разнообразны»; «красивые сельские виды» (с. 262); «прекрасные виды, представляющиеся со всех сторон» (с. 284); «вид прелестнейший» (с. 292); «прекрасные липовые аллеи, окружающие Гамбург» (с. 287); «отличнейшие гамбургские загородные дома и сады» (с. 289); «дома и парки», «один другого красивее и великолепнее» (с. 292); «прекрасный сад», «большой, великолепный дом с бельведером» (с. 293).

Вообще, локусы аллей, садов, парков доминируют в описании демиприродного ландшафта Гамбурга. В них сосредоточены мотивы пользы, уюта, привлекательности. Так, липовые аллеи вокруг города «дают отрадную тень, очищают воздух, прельщают глаза» (с. 288). Панорамное описание цепи садов и парков вдоль Эльбы можно в принципе рассматривать как образчик сентименталистского мирообраза Германии: «...аллеи, рощи, поляны спускаются по крутому берегу, до воды. Сверху вид прелестнейший. Величавая Эльба катит струи свои между зелеными, цветущими берегами; сотни разных судов летят под распущенными парусами. Куксгавенский пароход, как истый Гамбургский гражданин, куря трубку, смеется их усилиям и оставляет их за собою» (с. 292). Отметим в этом фрагменте характерный для пронизанной антропоцентричностью идиллии синкретизм живой и неживой природы, когда пароход уподобляется горожанину.

Особый вариант идиллического демиприродного локуса представлен кладбищем, которое автор сначала принимает за «прекрасный сад» (с. 282). Оно упорядочено, «разгорожено на отделения, по приходам города» (с. 286), благоустроено: «Дорожки усыпаны песком. На многих памятниках висят свежие венки» (с. 287); есть специальные дома «для помещения в них мертвых тел до погребения» «для предупреждения ужасных случаев погребения мнимоумерших» (с. 286–287). В итоге смертность кладбища оказывается существенно ослаблена. В соответствии с темпоральным синкретизмом идиллии это пространство живой памяти, наполненное при этом множеством витально-вегетативных образов: «Кладбища усажены тенистыми аллеями, густыми кустами, покрыты миллионами цветов» (с. 287). В целом локус маркирован мотивами сакральности и привлекательности: «красота и святость места» (Там же).

Мотив бессмертия, инспирированного как христианскими представлениями, так и идеей бессмертия великого человека<sup>8</sup> в людской памяти, актуализированы автором в описании могилы Клопштока «под

---

<sup>8</sup> Мотивом бессмертия маркирован и гамбургский дом Клопштоков, на котором горожане установили мраморную доску с надписью: «Die Unsterblichkeit ist ein grosser Gedanke... Бессмертие есть великая мысль» (с. 291).





высокою густою липою» (Там же) на «сельском кладбище» в датском тогда Оттенсене под Альтоной. Так, Греч описывает надгробие жены немецкого поэта, приводя надпись, сочиненную последним: «...Saat, von Gott gesäet, am Tage der Garben zu reifen, т. е.: *Семя, посеянное Богом, да созреет в день жатвы*» (с. 291). Здесь мы имеем дело с вегетативной метафорой, связанной с мотивом воскрешения. Кроме того, автор указывает, что на могиле Клопштока и его супруги висят «свежие цветочные венки» и «жители Гамбурга и Альтоны свято чтут память великого соотечественника» (с. 291). С образом липы (как типичного для немецкого ландшафта дерева и в то же время дерева — спутника человека) также связана «прекрасная деревня Гарвстегуде» под Гамбургом, где жил и умер немецкий поэт Гагедорн. Его «любимое место отдохновения», согласно Гречу, «было под густою липою», которая после смерти Гагедорна «была раздроблена грозой» (с. 302). При этом автор остраивает и несколько снижает образы липы и немецкого поэта с помощью «презавбавного анекдота» о близоруком Гагедорне, долгое время считавшем липу дубом и воспевшем дерево «под именем дуба в одной своей оде»; «Гагедорн очень горевал об этом промахе и во втором издании книги своей напечатал Linde, вместо Eiche» (с. 302).

Наряду с образом липы образ куста роз<sup>9</sup> служит контаминации локусов дома и сада, а также города и сада: «пышные розы» цветут в садах крестьян (с. 248) и на окнах домов в гамбургском пригороде (с. 267). У многих прохожих «краснеет в петлице» «роза или гвоздика» (с. 268). Также «городской вал» Гамбурга покрыт «зеленью, деревьями и миллионами роз» (с. 264). В результате актуализируется образ зеленого города-сада, тесно связанного с идиллией: «Я приехал ныне в Германию в самое цветущее время. Все сады, бульвары, окна, палисадники красовались пышными цветами» (с. 268).

Центром сосредоточения идиллического элемента внутри города является «прекрасное гульбище Jungfernstieg», характеризующееся такими мотивами, как привлекательность<sup>10</sup> (все смотрится «мило и при-

<sup>9</sup> Образ розы также служит контаминации пространств Гамбурга и Петербурга: «Лучшие розы у нас, в Петербурге, получаютя оттуда (из Гамбурга. — С. Ж.); но у нас они остаются кустиками, а там вырастают стройными деревьями» (с. 268). В то же время этот образ выполняет функции разграничения пространств: Гамбург в большей степени город-сад, чем Петербург.

<sup>10</sup> Греч называет город «любезный мой Гамбург» (с. 371) и признается: «...и самый город, и жители его, и весь тамошний быт произвели во мне самое приятное впечатление» (с. 251—252). Такое предпочтение сам автор объясняет тем, что Гамбург является в наибольшей степени «своим» из всех описанных в травелогe немецких пространств, поскольку он там встречает старых и новых знакомых — «круг людей, почтенных и любезных», отчего город «понравился» автору «более других мест Германии» (с. 253). Сравните с ремаркой Греча о Франкфурте, также деловом, как и Гамбург, но «чужом», нелюбимом из-за отсутствия близких по духу людей: «Что же... не понравилось мне во Франкфурте, когда я отдаю справедливость его красотам, климату, памятникам? Дома не составляют города, роши не общества, столпы и статуи не люди!» (с. 133); «Никто не заговорит громко; нет... веселости... дружелюбия, которые составляют прелесть наших обществ» (с. 135).



влекательно» (с. 251); «картина несравненная» (с. 264); «благообразные» (с. 262) дома; «великолепные» (с. 251) здания; превращенный в «прекраснейшее гульбище» (с. 262) городской вал; «прекрасный» (с. 264) мост), простор («широкий бульвар», «большие» дома (с. 262), «большой» (с. 251) водоем), чистота («чистый» (с. 262) водоем), вегетативность («бульвар, усаженный густыми липами» (с. 262)), наполненность людьми / витальность («бульвар, кипящий народом» (с. 251); «Бульвар с утра до ночи покрыт народом. Одни прогуливаются, другие спешат по делам» (с. 264)).

Локус полной людьми улицы типичен для гречевского изображения Гамбурга в целом. С одной стороны, наполненность людьми можно трактовать как маркер идиллии, с другой — это знак активного, деятельного пространства, отличного от ахронного Любека. Если образа последнего статичен, то Гамбург характеризует мотив беспрестанного движения / кипения: «движение многолюдного, шумного» города (с. 264); «движение богатого торгового немецкого города, кипящего жизнью и деятельностью... Народ на улицах волнуется беспрерывно» (с. 253–254). Особенно ярко этот мотив проявляется в описании гамбургской биржи, центра деловой активности: «Тысячи людей... большая часть с сигарами<sup>11</sup> во рту... толпились на бирже и в окрестных улицах» (с. 255).

К маркерам идиллии может быть отнесен и мотив гамбургского изобилия. Автор особо упоминает «сытный Гамбургский стол, известный во всей Германии» (с. 250); «Более всего поразительно и приятно для приезжего в Гамбург — общее довольство. ...на лице каждого Гамбургца написано: *я сыт*» (с. 266). При этом изобилие принимает порой степень чрезмерности, подается как чревоугодие, впрочем, не сильно порицаемое автором: «Врачи... живут преимущественно при помощи Гамбургского обжорства. Тот не есть истинный сын древней Гаммонии, кто раза два в неделю не испортит себе желудка» (с. 289). Общее довольство города также выражается, по Гречу, в отсутствии «черни» и нищих, то есть маргиналов (с. 266), что выгодно отличает Гамбург от Парижа или Лондона. Кроме того, дешевизна товаров в Гамбурге сочетается с высокой оплатой труда мастеровых: «В Гамбурге дешево все вещи, все потребности жизни: дорога только работа рук человеческих. <...> тамошние мастеровые живут припеваючи» (с. 267).

Вообще, «город как целое может выступать в словесно-художественном произведении как парабола некоего комплекса свойств — например, национальной... добродетели...» (Шукин, 2014, с. 11–12). В этом смысле Гамбург воплощает немецкость в ее бюргерском вариан-

---

<sup>11</sup> Образ сигары наряду с образом розы характеризует пространство Гамбурга. Если второй связан с идиллией, то первый маркирует город как прозаический бюргерский деловой локус. В «Действительной поездке...» мотив табакокурения акцентирован (вспомним сравнение дымящего парохода с курящим гамбургцем) и вплетен в пейзажное описание: «Отличительная черта Гамбурга есть та, что здесь... девять десятых взрослых мужчин курят сигарки... Многие не оставляют их и на улице. От этого беспрестанно носится на бульваре легкое облако табачного дыма» (с. 264).



те<sup>12</sup>, связанном с любовью к порядку, умеренностью, трудолюбием, вытекающими из протестантского этоса. Как подчеркивает Греч, местный «простой народ деятелен, весел и вежлив» (с. 266). Немецкость находит выражение в ландшафте *Jungfernstieg*, описание которого автор остраивает, упоминая, что новая часть гульбища «идет не прямо, но в последней трети, по длине своей, сворачивает чувствительно влево. Эта кризисна есть свидетельство Немецкой прямоты» (с. 263). Дело в том, что при строительстве нового бульвара планировался снос старых зданий, но один из гамбургцев не хотел продавать дом в надежде, что власти выкупят его по цене в десять раз большей. В итоге строение осталось стоять на прежнем месте «как памятник уважения к правам частным» (с. 263), а прямизной бульвара пришлось пожертвовать.

Немецкой упорядоченностью маркировано и политическое устройство Гамбурга, которое может быть истолковано в рамках идилического, бесконфликтного миропорядка:

...дела общественные идут в Гамбурге тихо, благочинно, к общему удовольствию. <...> Гамбург благоденствует под сим правлением, существующим несколько сот лет, составившимся на деле, а не на бумаге, и благоденствует особенно потому, что обитатели его суть немцы, народ рассудительный, кроткий, довольный малым, совестный в исполнении своих обязанностей, безмолвно повинующийся законам (с. 269–270).

Мирный характер гамбургской жизни Греч иллюстрирует примером из недавних для него политических событий — подъема в Европе протестных настроений в связи с французской революцией 1830 года. Когда жители предместья Св. Георгия потребовали от сената уравнивать их в правах «с обывателями старого города», городская власть отказала и вывела на улицы войска, которые сыграли, однако, лишь предупредительную роль, после чего «прошел год в тишине и повиновении» и «сенат сам предложил предместию прислать депутатов с представлениями о желаниях его обывателей, выслушал их и согласился на покорные просьбы» (с. 270). Таким образом, пространству Гамбурга (и, шире, Германии) в трактовке Греча свойственна социальная гармония между верхами и низами, благодаря «изящной гражданской добродетели», «чувству исполнения своих обязанностей» (*Pflichtgefühl*), что подразумевает следование установленному порядку, соблюдение закона: «Нигде... нельзя найти таких исправных, трудолюбивых и совестных долж-

---

<sup>12</sup> В пространстве Гамбурга автор подтверждает стереотип немца-филистера, но отрицает при этом стереотип немца-ученого, занимающегося умозрительными конструкциями и связанного с пространством «Германии туманной»: «Вообще осуждают Немцев за их педантство, за то, что они предпочитают ученость жизни, а книги натуре, но этого нельзя сказать о Гамбургцах. Если есть здесь литература, то одна практическая; для умозрительных же и ученых разысканий приморский воздух здешний слишком редок: это как бы вершина горы, до которой не поднимается мгла ученых туч и туманов» (с. 301–302). Соответственно, возникает своего рода скрытый оксюморон: равнинный Гамбург становится «вершиной горы», хотя его деловой, профанный статус должен, по сути, противоречить сакральности «горного» образа.



ностных людей и вообще граждан, как в Германии. Взятки у них вещь неслыханная. <...> Я слышал в Гамбурге единогласную хвалу бескорыстию, честности и беспристрастию тамошних судей и чиновников. То же можно сказать и о других землях германских...» (с. 271).

Следует заметить, что, если в образе ахронного Любека мотив упорядоченности дан в статике, то в рамках гамбургского пространства он представлен в динамике. Локус активно преобразуется и восстанавливается после вторжения начала неупорядоченности. Так, были заново посажены липовые аллеи, вырубленные маршалом Даву «во время осады города» (с. 287). Также восстановлены золотые и серебряные запасы Гамбургского банка, разграбленные Даву: «Французское Правительство уплатило большую часть. Остальная дополнена впоследствии благоразумным управлением» (с. 254). Эймбекский дом, построенный «в 1325 году для продажи в нем знаменитого тогда Эймбекского пива», передан связанным с деловой жизнью учреждениями: «разные конторы» («страховая, таможенная и лотерейная»), «аукционная камера для публичной продажи недвижимых имуществ и кораблей, коммерческий суд и комиссариат» (с. 254). Планируется сооружение нового здания биржи, которое, изначально размещенное в средневековой постройке, стало «тесно, неудобно, неприятно» (с. 254), то есть перестало отвечать рациональному порядку современного торгового города.

В отличие от описания Любека, в репрезентации Гамбурга средневековые элементы изображены гораздо слабее — как количественно, так и качественно. В обобщенном виде упомянуты некие готического вида улицы, «кривые и тесные» с «высокими, узкими» домами (с. 253), а также «древняя ратуша, украшенная старинными статуями Императоров Римских» (с. 254).

Чаще представлена, как в вышеприведенных фрагментах с образом маршала Даву, относительно недавняя история Гамбурга, связанная с борьбой против Наполеона. Так, при описании кладбища названо «особое отделение», где «погребены воины Ганзеатического легиона, павшие в войне за свободу Германии» (с. 287). В шутовском тоне описана история погребения<sup>13</sup> гамбургского городского совета с хранящимися там «древними бочками... с рейнским и мозельским вином 1630 года»: «Французы домогались прибрать к рукам и устам это святилище (Heiligthum, как называют его здесь), но Гамбургцы уступили банк, а вина не выдали» (с. 254). Повествование травестируется за счет смешения высокого образа святилища и прозаического образа винного подвала, который, однако, оказывается значимее для гамбургцев по сравнению с сугубо утилитарным пространством банка. В этом фрагменте можно, однако, увидеть и отсылку к мотиву гамбургского глоттонического изобилия, которое ценится больше золота и серебра. Неслучайно заканчивается история авторской ремаркой «Народ со вкусом!» (с. 254). Кроме того, профанизация христианской риторики в описании локуса происходит за счет введения языческого элемента: упоминается стоящая у входа в мнимую святиюню «грубая статуя Бахуса» (с. 254).

<sup>13</sup> Сходный любекский локус изображен нейтрально.



Нередко мотивы упорядочивания и удобства гамбургского пространства выходят за рамки «патриархальной» идиллии, наподобие любекской, и тесно связаны с рациональностью XIX века. Это проявляется и в подробном описании устройства особой «биржевой палаты», построенной в дополнение к старой бирже, чтобы смягчить неудобство малых размеров последней. В новом же локусе «кушцы находят, за небольшую в год плату, все удобства для отправления дел своих. Главное удобство в том, что они в ней в ненастное и холодное время охранены от действия враждебных стихий» (с. 255). В образах биржи и биржевой палаты акцентирован мотив коммуникации, обмена актуальной деловой информацией.

Рациональным удобством и точностью маркированы «почтовые учреждения» Гамбурга: «Из Гамбурга ходят в Берлин... покойные дилижансы, совершая этот путь в 36 часов. Точность, с какою ходят эти дилижансы, достойна удивления и подражания» (с. 303).

Рационально организованы и различные общественные учреждения города (пожарная служба, учреждения в пользу бедных, больницы, богадельни, детские приюты и даже нечто вроде детского сада), изображению которых Греч посвящает значительную часть «гамбургского» фрагмента текста. Они призваны внести порядок в мир неупорядоченного, выступающего в форме пожаров, бедности, пороков, преступлений и т.п. При изображении этих учреждений автор совмещает два мирообраза: нейтрально-фактографический, связанный с описанием рационального устройства заведений, и, по сути, сентименталистский, призванный подчеркнуть идиллический характер общественного устройства Гамбурга. Первый, например, выражен в мотивах регламентации и классификации, когда каждый «проблемный» гражданин становится объектом учета и дальнейшего распределения:

Весь город разделен... на пять частей, и каждая на двенадцать отделов. Попечители обязаны узнавать бедных... в порученном им отделе: каково состояние их здоровья, могут ли они работать, отчего впали в нищету и каким образом можно было бы помочь им. Сверх того осведомляются они о нравственности и поведении убогого, о числе его детей и пр. Комитет, рассмотрев донесение попечителей, определяет средства в пособие бедному: одному дает квартиру, другого отправляет в цех, для доставления ему работы; больного препровождают в госпиталь, увечного в богадельню. Ленивцев и негодяев отсылают в рабочий дом (с. 272–273).

В идиллических же тонах описан быт домов для вдов, устроенных благотворителем Гессе «в предместьи Св. Георгия»: «...построены в два ряда двенадцать уютных домиков, состоящих из чистой комнаты, спальни, каморки, кухни, погреба и чулана. При каждом дворик и прачечная, садик и лужок. Сверх того, есть общий сад с аллеями, беседками, дерновыми скамьями. <...> В каждом из маленьких домиков живет одна хорошего поведения вдова, на всей свободе, как в своей собственности, и получает все нужное — не только на безбедное пропитание, но и на некоторые прихоти. Почтенные, опрятно одетые старушки сходятся в саду, вяжут чулки, толкуют о былых временах, о несбывшихся



надеждах, и, благословляя друга человечества, за чашкою кофе ждут тихой смерти» (с. 274–275). Идиллично описание и ежегодного праздника, которое горожане устраивают для сирот «на обширном лугу»: «...сироты садятся за сытный лакомый обед и потом предаются играм детских лет» (с. 276). Для благотворительных заведений в целом характерны те же мотивы, что и для обычных идиллических локусов. Так, в образе больницы выделяются «чистота», «порядок в доме», «попечительность надзирателей и врачей» (с. 275), «благоустройство» (с. 273).

При этом целью в описании благотворительных учреждений акцентирован упорядочивающий, дисциплинирующий аспект. Старушка, чтобы попасть во вдовый дом, должна быть «хорошего поведения». В заведениях для малолетних «главная цель — приучить детей к благонравию, опрятности, порядку, дружелюбно и повиновению...» (с. 278). Локусы этих дисциплинирующих воздействий относятся к частям города, «обитаемым бедными и рабочими людьми» (Там же) как потенциальные места неупорядоченности.

Следует отметить, что целерациональная дисциплина выходит за пределы идиллического, притом что сам немецкий порядок оценивается Гречем положительно. Довольный отсутствием в Гамбурге черни, автор объясняет это жестким законом, «по которому всякой, кто подаст на улиц нищему милостыню, повинен... заплатить штрафу пять талеров...» (с. 267). Он смиряется с любовью немцев к порядку, когда его не пускают в сад, открытый для «гулянья» только по средам, в четверг же, по словам зрителя, туда не попадает «хотя бы сам Король Датский» (с. 292). Тот же мотив закрытости характерен для Гамбурга в целом, за пропуск в который после девяти вечера берут плату, «а в полночь запирают ворота наглухо, и хотя б приехал сам президент Германского Союза, Граф Мюнх-Беллинггаузен, ему пришлось бы ждать рассвета» (с. 296).

Как видим, гамбургское пространство структурно осложнено относительно фактически гомогенного Любека. В образе Гамбурга соединено множество разнородных локусов, что демонстрирует следующее панорамное описание: «Здесь видите вы и остатки Германской древности, и памятники великолепия времен новых, и следы грозных валов, и прекрасные гульбища мирных граждан, и движение многолюдного, шумного, пыльного города, и картину сельской природы и трудов земледельческих!» (с. 264).

Отметим, что среди прочего город назван «пыльным». Этот мотив пыли / грязи противоположен мотивы чистоты идиллии. Конечно, образы идиллического и рационального Гамбурга являются основными в греческом тексте. Но в нем вскользь описан и другой, «пыльный» образ города. Причем вводится это описание через остранение стереотипного образа<sup>14</sup> Эльбы: «Во всех географиях печатают, что вольный

<sup>14</sup> Травестии подвергается и литературный локус Эльбы: «Гамбургские жители смеются над великим Германским поэтом Шиллером, который в одной из своих трагедий (Коварство и любовь) заставляет героиню прогуливаться в Гамбурге по берегу Эльбы!» (с. 260).



ганзейский город Гамбург лежит на берегу Эльбы; но вы можете прожить в Гамбурге несколько дней, недель и месяцев, побывать во многих людных частях его, осмотреть разные здания и любопытные места — и не видеть Эльбы» (с. 260). «Парадная», восточная часть города, характеризующаяся локусами «гульбищ, зрелищ, хороших зданий, всенародных монументов», к Эльбе никакого отношения не имеет в отличие от рабочей западной части, «где находятся пристани, пакгаузы, амбары, жилища кораблехозяев и тому подобные отделения большого торгового города...» (с. 260). Если восток маркирован привлекательностью, то запад — отсутствием красоты и периферийностью: «...застроена высокими, старинными, некрасивыми домами, лежащими на самом краю Эльбы» (с. 260). Даже демиприродные лиминальные локусы Эльбы не идилличны, а утилитарны: «По ту сторону реки лежат обширные огороды и сады, в которых разводят овощи и зелень для потребления города» (с. 261). Утилитарно-рациональны также локусы каналов: одни, соединяя Эльбу с Альстером<sup>15</sup>, снабжены «шлюзами для удержания напора эльбской воды при морском приливе»; другие «проходят вплоть у самых домов... и служат для подвоза товаров к амбарам, а в случае пожара дают возможность иметь везде достаточное количество воды» (с. 261 — 262).

В качестве маргинального в тексте также выступает периферийный локус «предместья Гамбургская гора», отличающегося, как эвфемистически пишет Греч, «особенным характером» (с. 267). Дело в том, что, если гречевский Любек может быть отнесен к типу города-девы по топоровской классификации (Топоров, 1987), то гетерогенный образ Гамбурга имеет черты как города-девы (упорядоченное, мирное, привлекательное пространство, где, заметим, один из ключевых сублокусов называется *Jungfernstieg*, или «Девичья Тропа» (с. 251) в переводе автора), так и города-блудницы. Конечно, Греч не описывает подробно это неприличное, эксцентричное по отношению к идиллическому центру место, ограничившись упоминанием, что «там находятся игрища, трактиры и вольные дома для матросов гамбургского купеческого фло-

<sup>15</sup> Локус реки Альстер, напротив, преимущественно идиллический. Он связан с гульбищем *Jungfernstieg*. Также среди него, «на плоту, устроена прекрасная купальня, в которой можно иметь ванну из какой воды угодно: теплой, холодной, железной, морской, и т. п.» (с. 265). Кроме того, идиллический Альстер служит местом жительства лебедей, плавающих по нему «цельми стаями», благодаря некоей «птицелюбивой деве», завещавшей «городу значительную сумму на содержание лебедей на водах» реки (с. 265). Наконец, об идилличности Альстера свидетельствует пейзажное описание прогулок отдыхающих горожан, в котором визуальное наслаждение усиливается аудиальным: «Вечером, при шуме гуляющего по берегу народа, катаются по Альстеру в лодках любители музыки инструментальной и пения. Прелестная гармония несется с тихих вод его» (с. 265). Сравните также с локусом «заведения для изготовления и употребления искусственных минеральных вод» в гамбургском Эппендорфе, где смешаны идилличность и утилитарность: «расположено очень удобно и в приятном месте. ...есть билиард, шахматы, шашки, карточные столы; в саду кегли... Когда смерлось, раздалась в саду звуки согласных голосов. Одно из гамбургских обществ пения... устроило вокальный концерт» (с. 288 — 289).



та, которые, в ошумлении от даров Бахуса, и в наслаждениях, посвященных другим божествам языческим, забывают горе, опасности и заботы морской жизни» (с. 267–268). Как видим, Гамбургская гора маркирована рядом негативных мотивов: язычество, пьянство, разврат. Кроме того, опосредованно через маргинальные образы матросов присутствует связь с хаотически-стихийным, опасным пространством моря. Несколько фривольным является также образ торгующих крестьянок из другого гамбургского предместья, Фирландена: «они ходят в коротких юбках...» и среди них «есть истинные красавицы», одну из которых Греч называет «заморской куклой» (с. 268). Экцентричность этого образа, отличающегося от образа благонравных, вяжущих чулки немок-филистерш, автор объясняет исторической и пространственной чужестью фирланденок по отношению к немецкому миру: «Округ Фирланденский был в старину населен колонистами Голландскими, которые в течение времени забыли свой язык, но сохранили национальную одежду» (с. 268).

### Заключение

Урбанистическая образность в тексте «Действительной поездки...» Греч может быть частично описана через ряд пространственных оппозиций Любека и Гамбурга соответственно: «гомогенный – гетерогенный», «средневеково-ахронный – современный», «статичный – динамичный».

Кроме того, следует указать на встроенность гречевских городских образов в общую традиции репрезентации пространства Германии в русской литературе конца XVIII – первой половины XIX века. Это пространство изображается в качестве идиллического как на макроуровне, так и на мезоуровне отдельных локусов, в том числе городских. Гречевские Любек и Гамбург демонстрируют аналогичный связанный с идиллией и сентименталистским мирообразом мотивный ряд, к которому относятся мотивы упорядоченности, чистоты привлекательности, светлости, изобилия, наполненности жизнью. Они актуализированы в типичном для городского пространства наборе локусов дома, улицы, сада, аллеи, парка, гульбища. Подчеркнем особое значение в рамках идиллии четырех последних демиприродных локусов с ярко выраженной положительной коннотацией как переходных пространств между естественностью и цивилизацией. Идиллическим выступает и локус немецкого кладбища, при описании которого мортальная образность смягчена мотивами бессмертия и вегетативной витальности. Отметим в связи с этим повторяющиеся в пейзажных описаниях образы цветов (роз) и лип.

Но если локус Любека гомогенно идиллический, то пространство Гамбурга, помимо черт идиллического, также маркировано современной автору рациональной упорядоченностью, противопоставленной хаосу. Ряд локусов имеет смешанные идиллически-рационалистические характеристики (например, локусы богадельни, больницы, детского приюта), часть – сугубо утилитарные свойства (биржа, пристань, амбар,





канал). Более того, Греч противопоставляет чистую, туристическую, привлекательную восточную часть города, связанную с образом реки Альстер, пыльной, рабочей, прозаической западной части, относящейся к району Эльбы. Наконец, в рамках общегамбургского пространства выделены тексты города-девы (доминирующий) и города-блудницы (периферийный, маргинальный).

В целом гречевские образы немецких городов в тексте «Действительной поездки...» могут быть помещены в рамки идиллически-упорядоченного изображения германского пространства, характерного для русской литературы конца XVIII – первой половины XIX века, и представляют в основном сентименталистский и фактографический мирообразы Германии. В то же время писатель прибегает к приему острания стереотипных представлений о ней (например, в случаях локусов сада-кладбища или Эльбы), внося ярко выраженный индивидуально-авторский элемент в пространственные описания немецких земель.

### Список литературы

*Анциферов Н. П.* Радость жизни былой... Проблема урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на основе анализа литературных традиций. Новосибирск, 2014.

*Далкылыч О. В.* Три мира, три эпохи, три культуры: эхо городов Гейдельберг, Таллин и Кайсери в русской литературе XVIII – XX веков // Русский травелог XVIII – XX веков. Новосибирск, 2015. С. 427 – 445.

*Жданов С. С.* Образы германских городов в русских травелогах рубежа XVIII – XIX вв. // Вестник Кемеровского государственного университета. 2017. №2. С. 189 – 194. doi: 10.21603/2078-8975-2017-2-189-194.

*Жданов С. С.* Пространство Германии в русской словесности конца XVIII – начала XX века : дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2019.

*Ильченко Н. М., Аксенова М. В.* Образ Германии в путевых письмах Н. И. Греча // Язык, культура, ментальность: Германия и Франция в европейском языковом пространстве : матер. междунар. науч.-практ. конф. Н. Новгород, 2016. С. 112 – 116.

*Ильченко Н. М., Пеняева С. В.* Дрезден как культурный хронотоп в картине мира В. К. Кюхельбекера и В. А. Жуковского // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2015. №4. С. 113 – 119.

*Мароши В. В.* «Идеальный пейзаж» в травелогах русских путешественников о Центральной Азии // Русский травелог XVIII – XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы. Новосибирск, 2016. С. 37 – 68.

*Морозова Н. Г.* Грани восприятия Германии в контексте русской литературы «путешествий» // Филология и человек. 2008. №2. С. 9 – 17.

*Оболенская С. В.* Германия и немцы глазами русских (XIX в.). М., 2000.

*Пауткин А. А.* Кёнигсберг А. Т. Болотова. Оптика самопознания // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2017. №4. С. 52 – 61. <https://doi.org/10.20339/PhS.4-17.052>.

*Топоров В. Н.* Текст города-девы и города-блудницы в мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 121 – 132.

*Щукин В. Г.* Поэтосфера города. Город как единое целое (фрагмент из книги) // Новый филологический вестник. 2014. №1 (28). С. 8 – 18.

*Энгель А.* Саксонская Швейцария эпохи романтизма: русский, немецкий, французский образы // Евроазиатский межкультурный диалог: «свое» и «чужое» в национальном самосознании культуры. Томск, 2007. С. 36 – 48.



Asadowski K., Lavrov A. "Das Land der Genies" – Deutschland, gesehen von Andrej Belyj // Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. München, 2006. Bd. 4. S. 753–791.

Boden D. Die Deutschen in der russischen und der sowjetischen Literatur. Traum und Alptraum. München ; Wien, 1982.

Lebedeva O.B., Yanushkevich A.S. Deutschland im Spiegel der russischen Schriftkultur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Cologne ; Weimar ; Vienna, 2000.

Müntjes M. Beiträge zum Bild des Deutschen in der russischen Literatur von Katharina bis auf Alexander II. Meisenheim am Glan, 1971.

#### Список источников

Греч Н.И. Соч. : в 5 ч. СПб., 1838. Ч. 4.

#### Об авторе

Сергей Сергеевич Жданов, доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирск, Россия; профессор, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия.

E-mail: fstud2008@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-8898-6497

#### Для цитирования:

Жданов С.С. Идиллия, история, рациональность: образы городов в «Действительной поездке в Германию в 1835 году» Н.И. Греча // Слово.ру: балтийский акцент. 2023. Т. 14, №1. С. 8–28. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-1.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) ([HTTP://creativecommons.org/licenses/by/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

### IDYLL, HISTORY, RATIONALITY: CITY IMAGES IN "REAL JOURNEY TO GERMANY IN 1835" BY NIKOLAY GRETSCH

S. S. Zhdanov<sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup> Siberian State University of Geosystems and Technologies,  
10 Plakhotnogo St., Novosibirsk, 630108, Russia

<sup>2</sup> Novosibirsk State Technical University,  
20 Prospekt K. Marksa St., Novosibirsk, 630073, Russia

Submitted on June 03, 2022

Accepted on November 15, 2022

doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-1

*The article explores the images of the German cities, Lubeck and Hamburg, presented in Nikolay Gretschi's travelogue "The real trip to Germany in 1835". The author determines the link between the images of the two cities and the tradition of describing Germany as an idyllic place. This tradition was widespread in Russian literature at the end of the 18th century – first half of the 19th century. In Gretschi's text, Lubeck and Hamburg are depicted as idyllic but to different degrees. The locus of Lubeck is a homogeneous, patriarchal and achronous idyll, a static space that seems to have frozen in the Middle Ages. In contrast to Lübeck, the*



city of Hamburg is depicted as a large, contemporary, and dynamic city – in other words, as a modern type of idyll. Moreover, its orderliness goes beyond the idyll and is defined by the rational organisation of space, which is characterised by heterogeneity. Firstly, the idyllic subloci are distinguished, where the key role belongs to the demi-natural images of the garden, the park and the promenade. Secondly, the utilitarian-rational subloci of the stock exchange, quay, and canals are described. Subloci, which are marked by both idyll and rationality, have been identified (e. g. an orphanage, an almshouse). Finally, the third spatial type identified marginal sublocations of seafarers' establishments associated with the motives of disorderliness – drunkenness, debauchery, etc.

**Keywords:** image of city, Lubeck, Hamburg, Germany, travelogue, idyll, Nikolay Gretschi, Russian literature

## References

Antsiferov, N.P., 2014. *Radost' zhizni byloi... Problema urbanizma v russkoi khudozhestvennoi literature. Opyt postroeniya obraza goroda – Peterburga Dostoevskogo – na osnovoe analiza literaturnykh traditsii* [Joy of the ancient life... Problem of urbanism in Russian literature. Essay of city image constructing – Dostoevsky's Petersburg – based on the literature traditions analysis]. Novosibirsk (in Russ.).

Asadowski, K. and Lavrov, A., 2006. "Das Land der Genies" – Deutschland, gesehen von Andrej Belyj. In: *Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. Bd. 4*. München, pp. 753–791.

Boden, D., 1982. *Die Deutschen in der russischen und der sowjetischen Literatur. Traum und Alptraum*. München; Wien.

Dalkylych, O.V., 2015. Three worlds, three epochs, three cultures: echos of the cities Heidelberg, Tallinn and Kayseri in Russian Literature of the XVIII–XX centuries. In: *Russkii travelog XVIII–XX vekov* [Russian travelogue of XVIII–XX centuries]. Novosibirsk, pp. 427–445 (in Russ.).

Engel, A., 2007. Saxon Switzerland of the romanticism epoch: Russian, German, French images. In: *Evroaziatskii mezhdunarodnyi dialog: «svoe» i «chuzhoe» v natsional'nom samosoznanii kul'tury* [Eurasian intercultural dialogue: "own" and "alien" in the national consciousness of culture]. Tomsk, pp. 36–48 (in Russ.).

Ilchenko, N.M. and Pepelyaeva, S.V., 2015. Dresden as a cultural chronotope picture of the world of V.K. Kyuhelbekera and V.A. Zhukovsky. *Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta* [Herald of Vyatka State University], 4, pp. 113–119 (in Russ.).

Ilchenko, N.M. and Aksenova, M.V., 2016. The image of Germany in the travel letters by N.I. Grech. In: *Yazyk, kul'tura, mental'nost': Germaniya i Frantsiya v evropeiskom yazykovom prostranstve: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Language, culture, mentality: Germany and France in the European language space: materials of the international scientific and practical conference]. Nizhny Novgorod, pp. 112–116 (in Russ.).

Lebedeva, O.B. and Yanushkevich, A.S., 2000. *Deutschland im Spiegel der russischen Schriftkultur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts*. Cologne; Weimar; Vienna (in Russ.).

Maroshi, V.V., 2016. «Ideal landscape» in the travelogues of Russian traveller about Central Asia. In: *Russkii travelog XVIII–XX vekov: marshruty, toposy, zhanry i narrativy* [Russian travelogue of the XVIII–XX centuries: routes, topos, genres and narratives]. Novosibirsk, pp. 37–68 (in Russ.).

Morozova, N.G., 2008. The facets of the perception of Germany in the context of the Russian literature of "travel". *Filologiya i chelovek* [Philology & Human], 2, pp. 9–17 (in Russ.).



Müntjes, M., 1971. *Beiträge zum Bild des Deutschen in der russischen Literatur von Katharina bis auf Alexander II*. Meisenheim am Glan.

Obolenskaya, S. V., 2000. *Germaniya i nemtsy glazami russkikh (XIX v.)* [Germany and Germans through Russians' eyes (XIX century)]. Moscow (in Russ.).

Pautkin, A. A., 2017. A. T. Bolotov in Königsberg. Optics of self-knowledge. *Filologicheskie nauki. Nauchnye doklady vysshei shkoly* [Philological Sciences. Scientific Essays of Higher Education], 4, pp. 52–61, <https://doi.org/10.20339/PhS.4-17.052> (in Russ.).

Shchukin, V. G., 2014. The city poetical sphere. The city as a single whole (a fragment of the book). *Novyi filologicheskii vestnik* [New Philological Bulletin], 1 (28), pp. 8–18 (in Russ.).

Toporov, V. N., 1987. Text of the city-virgin and the city-whore in the mythological aspect. In: *Issledovaniya po strukture teksta* [Studies on the text structure]. Moscow, pp. 121–132 (in Russ.).

Zhdanov, S. S., 2017. Images of Urban Germany in Russian Travelogues at the Turn of the XIX Century. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Kemerovo State University], 2, pp. 189–194, <https://doi.org/10.21603/2078-8975-2017-2-189-194> (in Russ.).

Zhdanov, S. S., 2019. *Prostranstvo Germanii v russkoi slovesnosti kontsa XVIII – nachala XX veka* [The space of Germany in Russian literature of the late XVIII – early XX century]. PhD Dissertation. Tomsk (in Russ.).

#### Material resource

Gretsch, N. I., 1838. *Sochineniya Nikolaya Grecha: in 5 ch.* [Works by Nicolay Gretsch: in 5 pts.], pt. 4. St. Petersburg (in Russ.).

#### The author

*Dr Sergey S. Zhdanov*, Associate Professor, Head of Department, Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk, Russia; Professor, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia.

E-mail: [fstud2008@yandex.ru](mailto:fstud2008@yandex.ru)

ORCID ID: 0000-0002-8898-6497

#### To cite this article:

Zhdanov, S. S., 2023, Idyll, history, rationality: city images in “Real journey to Germany in 1835” by Nikolay Gretsch, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 14, no. 1, p. 8–28. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-1.



**ЕКАТЕРИНБУРГ — СВЕРДЛОВСК — ЕКАТЕРИНБУРГ:  
ОБРАЗ ГОРОДА В ДИНАМИКЕ ТОПОНИМИЧЕСКОГО ТЕКСТА**

**М. В. Голомидова**

Уральский федеральный университет  
Россия, 620142, Екатеринбург, ул. Чапаева, 16  
Поступила в редакцию 09.09.2022 г.  
Принята к публикации 15.11.2022 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-2

*Статья посвящена отражению образа города в вербальном материале – именах собственных, принадлежащих городским пространственным объектам. Автор опирается на идеи культурно-семиотического подхода к изучению города, на концепции города как текста и палимпсеста и ставит перед собой цель исследовать смысловые изменения в топонимическом тексте Екатеринбурга, рассматриваемом в его исторической динамике. Характеристика основных этапов в модификации топонимического образа уральского города осуществляется через метапонятие «хронотоп». В качестве инструмента собственно лингвокультурологического анализа применяются обобщенные ономастические, семантические модели, или культурно-семантические коды, к которым автор относит ландшафтно-различительный, социально-функциональный и социально-символический. Анализируется специфика реализации культурно-семантических кодов в топонимии (урбанонимии) Екатеринбурга применительно к трем хронотопическим срезам, которые заданы рубежными актами переименования города, – Екатеринбург, Свердловск, Екатеринбург. Выявляются актуальные смыслы в топонимическом портрете города в разные эпохи его жизни. Прослеживаются изменения, которые нарастают в топонимии в рамках одного хронотопического среза и способствуют трансляции части культурного опыта на следующие исторический этап топонимических практик. В образе Екатеринбурга, репрезентированном в его топонимическом тексте, отмечаются черты территориальной идентичности, обусловленные его природно-географическими, хозяйственно-экономическими и социальными факторами.*

**Ключевые слова:** образ города, топонимия, топонимический текст, культурно-семантический код, ландшафтно-различительный код, социально-функциональный код, социально-символический код, топонимический ландшафт, Екатеринбург, Свердловск

## **1. Введение**

Особый портрет города, его особое лингвокультурное «измерение» складывается в собственных именах городских пространственных объектов. Имена улиц, переулков, бульваров и аллей, набережных и площадей, парков и скверов формируют вербальную сеть ориентиров, связанную с общей для жителей информацией о названных реалиях, их соотносительности и топографических свойствах. И в то же время собственные имена репрезентируют коллективные представления о ракурсах интерпретации пространства, которое воспринимается сквозь призму социокультурных координат, значимых для своего времени, для



данной территории и для ее языкового сообщества. Таким образом складывается семиотическая топонимическая среда, коррелирующая как с материальными ландшафтными и архитектурными формами, так и с социальными представлениями, с образами и смыслами, с текстами культуры, живущей в геопространстве. Формируется уникальный топонимический текст в виде сложного знакового «произведения», составленного топографическими именами в их пространственной привязке и социокультурных смыслах.

В своем историческом развитии город неизбежно меняет свою топонимию, и отраженный в ней топонимический образ претерпевает модификацию, наполняясь новыми содержательными акцентами. Несколько перефразируя М.М. Бахтина, который использовал термин «хронотоп» для обозначения пространственно-временной матрицы нарратива, можно сказать, что за динамикой топонимического портрета городской территории просматривается хронотопическое изменение и смена семиотических матриц в топонимическом тексте, который разворачивается во времени. При этом главными вехами изменений могут служить акты переименования самого города.

Если оценивать смену ойконима (имени города) с позиций семиотических трансформаций, то замена напрямую сигнализирует о рубеже между старым и новым. Она символически маркирует начало грядущего этапа, в котором будут заданы ориентиры конструирования обновленной городской социокультурной реальности. Это убедительно показывает, например, финская исследовательница А. Марин при рассмотрении смысловых доминант при переименовании топографических объектов в советском Ленинграде и в постсоветском Санкт-Петербурге (Marin, 2012). Однако нельзя не отметить, что в сложной жизни любой топонимической системы, в том числе системы городской, урбанонимической, акт переименования, хотя и представляет собой радикальный инструмент обновления, тем не менее не является ни единственным, ни исключительным средством развития топонимиконов.

Мы полагаем, что более широкий исследовательский горизонт для рассмотрения топонимического хронотопа в связи с рубежными изменениями ключевых имен города может быть задан сочетанием историко-культурного и семиотического подходов, в русле которого анализируются специфические черты образа города в его исторической динамике через совокупность содержательных и количественных характеристик топонимического материала, через факты не только переименования, но и первоименования.

Топонимия (урбанонимия<sup>1</sup>) уральского Екатеринбурга, одного из крупнейших городов России, дает возможность для верификации возможностей такого исследовательского подхода применительно к срезам, которые заданы рубежным переименованием. Подобно Санкт-Петербургу, Екатеринбург был основан в Петровскую эпоху и назван в

<sup>1</sup> Термины «урбаноним», «урбанонимия» в отечественной ономастике принято использовать в отношении разновидности топонимов, имен собственных городских топографических объектов. См.: (Подольская, 1988, с. 139–140).



честь святой Екатерины, покровительницы правящей императорской особы. В советское время он так же, как и северная столица, был переименован по политическим мотивам и назван Свердловском в честь одного из лидеров революционного движения. В конце XX века под влиянием единых для страны политических процессов вновь обрел свое исходное имя Екатеринбург. Сходная траектория в смене имен города заставляет полагать действие неких похожих социально-смысловых установок в трансформации топонимического материала, но в то же время принадлежность Екатеринбурга к особому информационно-культурному фону, названному культурологом и писателем Алексеем Ивановым «уральской матрицей»<sup>2</sup>, закономерно обуславливает предположение о проявлении в топонимическом хронотопе регионально специфических черт уральской идентичности. В своем исследовании мы попытаемся представить топонимический хронотоп в трех основных исторических срезах: Екатеринбург — Свердловск — Екатеринбург, и рассмотреть особенности изменения топонимического портрета города в соотнесенности с территориальными социокультурными реалиями,

## 2. Методология, методы и языковой материал исследования

Семиотическое изучение города как текста в отечественной научной традиции было начато в трудах Тартуской и Московской семиотической школ — в работах Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского (Лотман, 1984; Успенский, Лотман, 1976), Вяч. Вс. Иванова (Иванов, 1986), В.Н. Топорова (Топоров, 2003). Доказав свой научный потенциал, текстовый подход получил продолжение в системно-семиотической интерпретации города как сложного и динамичного социокультурного феномена (Анисимов, 2018; Барабошина, 2013; Бурлина 2017; Касаткина, 2015 и др.). Категория текста, в свою очередь, нашла развитие в метапонятии «город-палимпсест» — текст, в котором слой за слоем стирают одни надписи, чтобы нанести другие, причем «более ранняя информация не исчезает бесследно, а как бы просвечивает сквозь новую и ее смысл можно декодировать» (Митин 2008; 2022).

---

<sup>2</sup> Продолжая идеи профессора Павла Богословского об уральской «горнозаводской цивилизации», А. Иванов говорит об особой уральской матрице, созданной сопряжением особенностей природно-географической среды, сплава бытующих здесь этнических культур и сформированного в этом сплаве образа культурного героя — человека-мастера, преобразователя среды. «Русские вживались в Урал полтысячелетия. Но и Урал полтысячелетия перековывал пришельцев под себя. Потому что освоение Урала русскими — промышленное, а промышленность требует так организовать жизнь, чтобы приноровить ее к местным условиям... Особая организация жизни влечет за собой и трансформацию жизненных ценностей... Этот местный комплекс представлений можно назвать “уральской матрицей”. Матрица — набор характерных способов существования, которые актуальны здесь всегда... Набор параметров местной идентичности» (Иванов, 2022, с. 13).



В лингвокультурологии на понимании города как текста осуществляется в настоящее время изучение языка городского пространства (Булыгина, Трипольская, 2015; Шарифуллин, 2007). В исследованиях собственно топонимических, сориентированных на лингвокультурологический подход, территориальная экспликация топонимических систем получает объяснение в виде «топонимического текста, органично вписанного в контекст духовной культуры народов» (Березович, 1995).

Обращаясь к топонимии Екатеринбурга, мы также будем исходить из общих установлений лингвокультурологии, согласно которым языковые факты рассматриваются в связи с явлениями культуры и трактуются как проявления языкового мироотражения — особой языковой «оптики», в которой язык отражает окружающий мир.

Для того чтобы установить ракурсы представления пространственных объектов в их именах собственных, будет применяться метод ономаσιологического, семантического анализа языкового материала с включением приемов семиотической интерпретации. Дальнейшее обобщение сходной мотивировочной информации послужит основанием для выведения культурно-семантических кодов, которые соответствуют аспектам номинативной интерпретации городского пространства. Наконец, исследование динамики кодов в пределах тех или иных хроно-топических срезов в перспективе решения исследовательских задач будет направлено на выведение топонимического портрета города в его развитии.

Материалом исследования являются названия городских объектов, разные по времени образования, они собраны преимущественно по письменным источникам — картам, описям, адресным спискам, справочникам, краеведческим и публицистическим публикациям.

### **3. Культурно-семантические коды интерпретации топонимического пространства**

Если трактовать городское пространство как текст, созданный с помощью знаковых форм, то его восприятие, или «прочтение», происходит в соответствии с определенными культурными стереотипами через вычленение элементов и структур, ответственных за передачу смыслов, и через действие неких общих «правил» истолкования, которые сложились в культуре и известны ее носителям. Таков механизм действия любого культурно-семантического кода, в том числе и реализуемого средствами языка. Топонимические коды не составляют в этом отношении исключения: они основываются на условной связи между формой знака и его содержанием. Здесь под формой будут пониматься элементы внешней структуры топонима (нарицательное слово + индивидуализирующее обозначение), а под содержанием — конфигурация сем, которая создается сочетанием мотивировочной семантики во внутренней форме топонима и его видовой семантики, соотносящей объект с той или иной разновидностью пространственных реалий (улица, площадь, рынок, кладбище, здание / сооружение и проч.).





Учитывая сказанное, можно выделить несколько культурно-семантических кодов в урбанонимии: код ландшафтно-различительный, код социально-функциональный и код социально-символический. Для иллюстрации их особенностей воспользуемся далее примерами названий дореволюционного Екатеринбурга, поскольку это позволит лучше показать начальный период в формировании его топонимикона.

Ландшафтно-различительный код соответствует трансляции во внутренней форме топонима реальных отличительных признаков объекта, отражающих его природно-географические, физические свойства, такие как: особенности расположения, очертаний, природного окружения, рельефа местности и проч. Соответствующие мотивировочные признаки обнаруживаются, например, в именах улиц *Береговая, Дальняя, Заячий порядок, Крутая, Косой Порядок, Луговая, Набережная, Окружная, Крайняя, Подгорная, Проломская, Шарташская (в направлении оз. Шарташ), Чусовская (в направлении с. Чусовского)* и др.

Социально-функциональный код обусловлен связями объекта с социальной средой города и разными сторонами его хозяйствования и быта. Он предполагает передачу во внутренней форме топонима характеристик места, встроенного в социальную действительность — например, указания на жителей или особенности осуществляемой здесь деятельности, передачу тех или иных черт уклада или привычек повседневности, отражение прав собственности и проч. Спектр мотивировочной семантики в этом случае достаточно широк. Например, названия улиц *Архиерейская, Керженская, Солдатская, Офицерская* несут указание на тех, кто на них проживает, будь то влиятельная персона или социальная группа. Названия улиц *Госпитальная, Заводская* подчеркивают нахождение рядом либо в пределах локаций значимых для жизни города объектов. Имена площадей *Дровяная, Сенная, Хлебная, Щепная* прозрачно подсказывают, что за товар продается в этих местах.

Есть общее свойство топонимов, реализующих коды ландшафтно-различительный и социально-функциональный. Оно заключается в передаче реальных признаков объектов, что позволяет именам осуществлять идентифицирующую и ориентирующую функцию. Отличие заключается лишь в том, что в первом случае акцентируются природно-пространственные и физические качества места, а во втором — его социальные характеристики.

Принципиально иной ракурс осмысления пространства возникает при его истолковании в связи с действующими установками религии, политики, идеологии, искусства. В этих случаях более существенной оказывается не столько навигационная роль топонима, сколько его способность быть знаком-транслятором более сложной в идейно-смысловом отношении культурной информации. Следуя словам Ю. М. Лотмана о том, что «представление о символе связано с идеей некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения для другого, как правило, культурно более ценного, содержания» (Лотман, 1992, с. 197), такой семантический код можно определить как социально-символический.



К примеру, имя храма, как и другие ойкодомонимы, служит различению строения, сооружения и в общем смысле «места». Но это место воспринимается в отличных от обыденности «координатах»: оно осознается как особое, сакральное пространство, и взаимодействие с ним переводит смысловую интерпретацию из «горизонтали» повседневной жизни в «вертикаль» высоких духовных ориентиров.

Для городской топонимии XVIII — первой половины XIX века именно названия религиозных объектов выступали главными носителями социально-символического кода. Не только храмовая архитектура, но и вербальные символы — имена церквей, соборов, монастырей — содействовали смысловому переключению «регистров» истолкования места. Важно, что наименование конфессиональных объектов неизменно обращается к религиозной истории, а мотивировка любого храмового имени воспроизводит почитаемые образы и знаковые сюжеты. Так имя становится ключом к напоминанию о религиозной событийности, к которой приобщается верующий<sup>3</sup>.

Другой вариант актуализации социально-символического кода представляет собой именование места в честь почитаемого лица, лиц или событий. Это топонимическое увековечивание, которое осуществляется в модальности уважительного превознесения объекта коммеморации и, по сути, представляет собой символическое подчеркивание высокой общественной ценности мемориальной информации.

В урбанонимии XVIII — начала XIX века этот вариант символизации занимает весьма скромное место. Тем не менее примеры проявления символической коммеморации можно обнаружить в старом Екатеринбурге. В 1824 году город удостоился своим визитом император Александр I, и в честь знаменательного события одна из улиц города позднее была наименована *Александровским проспектом*, а сооруженный поблизости мост получил название *Царского*.

Завершая разговор о культурно-семантических кодах и их экспликации в топонимии города, следует подчеркнуть, что приведенные разновидности не носят характера жестких или замкнутых схем. В реальном означивании они могут пересекаться, частично накладываться друг на друга, взаимодействовать и порождать переходные явления. Они не столько конкурируют, сколько дополняют друг друга в качестве семиотических стереотипов, объективирующих определенные аспекты восприятия.

---

<sup>3</sup> Даже по внешней форме конфессиональные имена — нередко это многокомпонентные конструкции с включенной формой родительного падежа — заметно отличаются от названий улиц и площадей, вырастающих из речевых описательных конструкций. Ср.: *Собор Успения Пресвятой Богородицы, Храм Вознесения Господня* и др. В устной речи многокомпонентные названия естественным путем сокращаются, и вырабатываются варианты, которые используются параллельно — Успенский собор, Вознесенский храм, Вознесенская церковь. Конструкция из сочетания отыменного прилагательного с существительным делает форму названия более удобной в произносительном отношении, но и не лишает храмовое имя его мотивировочной конфессиональной семантики. Более того, именно от устных речевых вариантов путем метонимического переноса далее образуются названия смежных улиц, проспектов, тупиков и переулков.



Перечислим некоторые из них: пространство предстает как предметная реальность, формирующая образ знакомой ландшафтной, в том числе архитектурной среды; как места и зоны текущей деятельности, диктующие стереотипы поведения; как тем или иным образом организованные формы, направляющие интерпретацию в область идеологических, эстетических, познавательных и прочих представлений (Голомидова, 1995, с. 22).

Специфика их реализации будет рассматриваться далее применительно к трем «матрицам» топонимического хронотопа столицы Среднего Урала: дореволюционного Екатеринбурга, советского Свердловска и Нового Екатеринбурга.

#### 4. Образ города в топонимическом хронотопе

##### *Екатеринбург (1723–1919)*

Екатеринбург — город, который в настоящее время имеет статус столицы Среднего Урала, является административным центром Свердловской области и носит звание «Города трудовой доблести», — был официально основан в 1723 году. Датой его рождения считается 24 ноября — день, когда созданный по указу императора Петра I железодобывательный завод на реке Исети выдал свою первую продукцию.

Екатеринбург был образован в контексте той же идеологической программы формирования Российской империи, что и Санкт-Петербург, и создан в соответствии с общими идеями рационального подхода к планировке и обустройству городского пространства.

Первоначальный статус Екатеринбурга — город-завод. Его зерном и центром дальнейшего развития стала возведенная на берегах реки Исети и огородившая плотину крепость, которая дала жизнь новому, самому крупному на то время в России металлургическому предприятию. Здесь, на территории крепости, появились первые городские топонимы. Это имена *Екатерининского завода, церкви Св. Екатерины, Церковной площади и площади Торговой*.

Завод, церковь, площади — центральные объекты рукотворного ландшафта. Их имена соотношены в мотивировочном плане через обращение к имени Св. Екатерины и через указание на пространственную соположенность. Они образуют комплекс из знаков-индивидуализаторов для ядра городской территории.

Центру с наименованными локациями противопоставлялись периферийные зоны прилегающих поселений: их представляют названия *слобод Банной, Купецкой, Конюшенной, Лекарской, Подъяческой, Ссылной*, которые не получили внутренней, более подробной именной детализации.

Роль семантического стержня для всего именованного массива брало на себя название центральной транспортной артерии, дороги, проходившей через плотину, — *Главный проспект, или Главная перспектива, Большая Перспектива*. Нетрудно заметить, что внутренняя форма этого названия прозрачно передавала образ регулярной планировки.

Наконец знаками замкнутого — точнее, закрытого, но размыкаемого — пространства служили имена пяти крепостных ворот — *Красные*



ворота, Зелёные (они же Пороховые), Уктусские, Исетские и Мясницкие (ведущие в нарождающийся посад). «Ворота зададут направления роста городской застройки, откроют путь для образования будущих улиц и проездов» (Зорина, Слукин, 2005, с. 12).

Таким образом, исходный топонимический образ Екатеринбургa — города, ставшего одним из первых промышленных городов в истории России, предстает лаконичным, связанным по своим фрагментам, рациональным и подчиненным жизни заводского производства.

По мере дальнейшего развития городской территории появляются своего рода локальные центры, в ориентации на которые ведется называние новых объектов. В Екатеринбурге XVIII — первой половины XIX века такими точками напряжения, организующими вербальный пространственный облик города, стали наименования церквей: они регулярно используются в качестве основы для метонимических переносов, см.: *Богоявленская церковь* — улицы *Богоявленская 1* и *Богоявленская 2*; *Вознесенская церковь* — *Вознесенский проспект*, *улица Большая Вознесенская*, *улица Верх-Вознесенская*, *Вознесенский переулок*, *Вознесенская площадь*; *Крестовоздвиженская церковь* — *улица Крестовоздвиженская*; *Ново-Тихвинский монастырь* — *улица Монастырская*; *Покровский придел Святодуховской церкви* — *проспект Покровский*; *Спасская церковь* — *улица Спасская*; *церковь Успения Божьей Матери* — *улица Успенская* и др.

Хорошо известно, что переносы, основанные на общем принципе пространственного соединения «церковная постройка — прилегающий пространственный объект», весьма типичны для ориентирующего топонимического означивания, и в этом отношении панорама Екатеринбургa не носит характера исключительности. Значительно более интересен структурный эффект, возникающий при регулярном повторении таких семантических сцепок: они организуют своего рода внутренний ритм, который задает равномерное «прочтение» пространства.

Другими опорными точками для метонимических переносов служат:

— названия природных реалий: *ключ Малаховский* — *Малаховский площадь*; *р. Мельковка* — *переулок Мельковский*; *р. Одиарка* — *улица Одиарка*; *р. Опалиха* — *улицы Опалихинская 1-я*, *Опалихинская 2-я*; *р. Уктус* — *пер. Уктусский 1-й*, *Уктусский 2-й*, *ул. Уктусская* и др.;

— названия объектов производства, управления, инженерно-технической, естественно-научной, образовательной деятельности: *Верх-Исетский завод* — *проезд Верх-Исетский*, *гимназия* — *Гимназическая набережная*, *казначейство* — *улица Казначейская*, *кузницы* — *ул. Кузничная* (позже *Кузнецкая* и *Кузнечная*), *магистрат* — *улица Магистратская*, *обсерватория* — *ул. Обсерваторская*.

Гармонизации образа города в XVIII — начале XIX века способствовало чередование имен линейных объектов и площадей в его центральной части, а стихийное стремление к связанности находило выражение в метонимическом назывании соседних локаций, ср.: *улицы Мельковские 1-я, 2-я, 3-я, 4-я*; *Береговые 1-я, 2-я*; *Восточные 1-я, 2-я*; *Ключевские 1-я, 2-я, 3-я, 4-я*; *Одиарки 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я*.

Приоритет той же ориентирующей функции обнаруживается в названиях крупных дорог, указывающих на пункты или зоны даль-



нейшего движения: *Верхотурский тракт* — в сторону Верхотурья, важного таможенного и торгового узла; *Сибирский проспект*, ведущий на восток, в Сибирь; *улица Московская / Московский тракт* — в сторону Москвы; *Оренбургский тракт* — в сторону южноуральского Оренбурга; *улица Березовская* — в сторону Березовского поселка и Березовского золотодобывающего рудника.

Однако стремление к строгости и стройности отнюдь не означало, что облик города приближался к идеальному. Непролазная грязь и сырость были вечным уделом низких участков, и лаконичным свидетельством тому служат народные названия: *Лягушка*, *Мокрая*, *Наземка* (от наземь — «навоз, тук»); *Отрясиха* (от «отряси нога»).

Что касается соотношения между семантическими кодами, то проясняет себя сбалансированность и почти равное участие всех моделей означивания.

Однако среди вариантов репрезентации социально-функционального кода обнаруживается крен в сторону, если можно так выразиться, «служебной» тематики. Ее напрямую реализуют названия административных зданий и заводов и фабрик: *Екатеринбургская гранитная фабрика*, *Екатеринбургская механическая фабрика*, *Горное управление*, *Горное училище* и др. Она поддерживается в метонимических именах смежных с деловыми объектами улиц, тупиков, проездов и переулков.

Некоторые улицы получали названия по фамилиям купцов или владельцев усадеб, чьи дома выделялись на фоне других построек: *улицы Колобовская*, *Коробовская*, *Расторгуевская*, *Симановская*, *Усолецевская*. Малочисленные в XVIII веке, они постепенно наращивают свое число. И только во второй половине XIX века, в пореформенное время, открывшее дорогу частному капиталу, количество урбанонимов, образованных от фамильных имен, будет прогрессировать.

Пространство личных интересов горожанина, его частной жизни в топонимах практически не представлено. Лишь отдельные факты — *улица Водочная* да *площади Веселая* и *Разгуляевская* (по названию кабака «Разгуляй») рисуют весьма непритязательную и безрадостную картину городского быта.

В целом образ города в урбанонимах XVIII — первой половины XIX века предстает как достаточно ритмично организованное пространство, обладающее чертами симметрии, правильными геометрическими формами, вписанными в неоднородный природный ландшафт; пространство, сочетающее функции управленческой, военной, промышленной и торговой деятельности; пространство, в котором пересекаются линии просвещенной (религиозной, управленческой) и простонародной культуры.

В период, последовавший за отменой крепостного права, Екатеринбург из «горного города» превращается в центр заводчиков, золото-промышленников и коммерсантов. Постройка железных дорог из Екатеринбурга на Пермь, Тюмень и Челябинск превратила город в крупный железнодорожный узел и в немалой степени способствовала оживлению и разнообразию экономической жизни. С ростом населения расширяется территория, значительно увеличивается число домов, дорог, проездов и производственных пространств, торговых и досуговых зон.



Каким изменениям подвергается урбанонимия? Во-первых, энергично идет ее количественное разрастание<sup>4</sup>. И это закономерно, поскольку с усложнением устройства и функций города, с развитием его хозяйственно-экономической, административной и правовой сфер потребность в официально закрепленных за объектами именами резко возрастает. То, что раньше могло существовать без имени как невыделенное, но всем известное, теперь требует своего наименования, задокументированного в плане, на карте, в списке, на табличке или на вывеске, в свидетельстве или иной канцелярской бумаге.

Во-вторых, происходит формирование имен новых тематических разрядов — урбанонимов, маркирующих пространственные объекты, где происходит разнообразная бизнес-активность. Уже недостаточно безликих обозначений «лавка», «мастерская» или «постоялый двор», и появляются в значительном количестве собственные имена магазинов и торговых компаний, мелких производств, столовых и чайных, банков и страховых контор, попечительских и благотворительных заведений. Все, что оказывается в сфере интересов частного капитала, стремится обзавестись именованным знаком идентификации и собственности.

Исторически сложившийся пространственный образ города продолжает оказывать структурообразующее влияние на формирование его нового объема, что находит выражение в сохраняющей свою актуальность центростремительности и в концентрации урбанонимов в центральной зоне города. По-прежнему поддерживаются на именованном уровне идеи симметрической пространственной организации (см., напр., номинативные параллели в именах улиц *Московская бульварная — Восточная бульварная*), но ритм распределения именованного материала изменяется в сторону неравномерного. Углубляется контраст между центром как пространством со значительной концентрацией урбанонимов и периферией, слабо наполненной именами собственными.

В сплетении семантических кодов все более заметным становится крен в сторону социально-функционального и социально-символического. Доминирование первого хорошо демонстрируют не слишком частые ранее, а в это время появившиеся в необычайном, если не сказать фантастическом, количестве имена — знаки собственности, несущие указание на субъектов владения или патронирования: *Детские ясли Благотворительного общества; Доходный дом Емельянова; Лечебница акушера Онуфриева; Концертный зал И. З. Маклеуцкого; Начальная школа Арнольдовой; магазин мужского платья А. Шалахина; Бумажный склад Михайловской; Типография Мерных, Краевой и К°; Торговый дом Второвых; Товарищество А. Печенкина и К°; Товарищество Ваганов и сыновья, магазин Агафуровых* и др. Имена владельцев, включенные в урбанонимы, работают

<sup>4</sup> В книге исследователя Урала Никиты Попова «Хозяйственное описание Пермской губернии», вышедшей в свет в 1804 году, приведено название 31 екатеринбургской улицы. В плане развития Екатеринбургa, утвержденном в марте 1845 года, насчитывалось 52 улицы. В 1889 году городской голова И. Симонов в издании «Город Екатеринбург» сообщал уже о 96 улицах (Артамонова, 2013).



на различие мест деловой активности, но одновременно демонстрируют и повышают статус самих хозяйственников. Ничего удивительного, поскольку новая буржуазная эпоха все более утверждает образ человека энергичного и предприимчивого.

Что же касается социально-символического кода, то в полном соответствии с динамикой городской культуры развивается вариант его реализации в виде условно-символического именованного. Мотивировочная семантика условно-символических имен не связана с прямыми характеристиками объектов, которые позволяли бы представить место расположения, сферу деятельности либо собственника. Мотивировка идет по пути ассоциативного развития, своего рода остранения либо украшения, и мотивировочные признаки условно-символических имен включаются в актуализацию неких отвлеченных или улучшенных, пожелательных свойств. Для их передачи, как правило, используются образные и абстрактные лексические мотиваторы, см.: *страховые конторы «Жизнь», «Якорь», «Саламандра», торговая компания «Волга», фабрика скляных изделий «Гера», магазины «Детский мир», «Лира», «Флора», «Проводник», «Рекорд»; театры и электротетатры, кинематографы «Комета», «Лоранж», «Свет» и др.*

Краткие и одновременно семантически емкие условно-символические имена привлекают внимание, стремятся взять на себя рекламирующие функции, а тенденция к их постепенному наращиванию свидетельствует о моде на номинативную эстетику, которая отвечает свежим веяниям в самом стиле городской жизни.

Духовное и практическое, эстетически ценное и утилитарное соединяются в отношении мест для массового «потребителя». Новейший оттенок именуемого смысла можно коротко сформулировать лозунгом «Да здравствует частная жизнь!» — ей принадлежат познавательные интересы (*книжные магазины «Мир», «Польза»*), вкусовые пристрастия (*магазин готовой одежды «Парижский шик», магазины «Китайский чай», «Немецкая колбасная»*), эстетические запросы (*кинематограф «Художественный»*) и модные формы досуга (*магазин «Спорт»*).

Условно-символические имена активно эксплуатируют образы иных пространств и культур и отсылают воображение и к масштабному пространству империи (*гостиница и ресторан «Россия»*), и к пространству инокультурному (*гостиницы «Американская», «Венеция», «Пале-Рояль», «Рим», кинотеатр «Коллизей»*), и к пространству экзотическому (*гостиница «Эрмитаж»*).

В итоге возникает эффект условного ментального развертывания пространственных границ: расширяется семантическая перспектива, заданная урбанонимами, и образы далеких культурно-географических реалий символически связывают город не только с просторами России, но и с более широкими пределами.

Если говорить об обобщенном топонимическом портрете, то в нем отражена роль города как промышленного и торгового центра на границе Европы и Азии, открытого для ближних и дальних контактов. Ему соответствует постепенно обновляемый топонимический текст,



который демонстрирует выростание нового на фоне преобладающего традиционного, принимает некоторые западные заимствования через посредническое влияние столичной культуры и приобретает в итоге черты эклектики.

### *Свердловск (1919–1991)*

Советский период принес городу новое имя – Свердловск, в честь председателя ВЦИК и главы исполнительной власти страны Я. М. Свердлова, чья партийно-революционная деятельность была связана с Уралом. Решение о переименовании городской Совет вынес 24 октября 1924 года, и в тот же день местные газеты вышли с приветственными заголовками «Да здравствует Свердловск!» Журналисты писали: «Питер получил от революции новое имя – Ленинград. Екатеринбург получит имя ближайшего ученика и соратника Ленина – имя Свердлова» (Сверчков, 2014).

Спустя три года напротив оперного театра, где проходило судьбоносное собрание горсовета, был установлен памятник Я. М. Свердлову, и коммеморативное имя города получило дополнение в изобразительной знаковой форме. Однако акт рубежной смены имен лишь подтвердил курс на радикальное преобразование городского текста – практические и весьма решительные его изменения начались несколько раньше.

Нужно сказать, что способность урбанонимов служить символами для утверждения актуальных ценностных ориентиров и вербального воздействия на общественное сознание начинает апробироваться уже в конце XIX – начале XX века<sup>5</sup>. И вполне закономерно, что бурные социальные потрясения 1917–1919 годов не могли не упрочить применение топонимов в качестве средства «высказывания» от любой власти, действующей в духе текущей общественно-политической ситуации.

Уже во время Гражданской войны на Урале весной 1919 года, когда Екатеринбург был занят войсками белогвардейской Сибирской армии и частями Чехословацкого корпуса, члены городского Культурно-экономического союза выступили с предложением «отметить заслуги чехословаков перед городом Екатеринбургом переименованием *Арсеньевского проспекта* в *Чехословацкий проспект*» (Чирков, 2020).

Однако к лету 1919 года военная обстановка изменилась, город был отвоеван Красной армией, и начался второй, после 1917 года, этап утверждения советской власти. Его сопровождала массовая кампания

---

<sup>5</sup> Это подтверждают в первую очередь факты переименования, связанные с коммеморацией. Так, в 1899 году в связи с празднованием в Екатеринбурге 100-летнего юбилея А. С. Пушкина и проведением многочисленных торжеств улицу Соборную переименовали в улицу Пушкинскую (Зорина, Слукин, 2005, с. 137). В 1904 году улица Верхотурская была переименована в Арсеньевский проспект в знак почтения к пермскому губернатору Д. Г. Арсеньеву, участнику войны за освобождение Болгарии, который неоднократно бывал в Екатеринбурге. Сопроводительная формулировка к переименованию, выполненная почти в стилистике орденой награды, сообщала: «за любовь и беспредельную доброту» (Чирков, 2020).





по изменению символов. Уже осенью 1919 года городской топонимический текст был радикально переписан: из существующих на то время почти 110 топонимов 49 названий для улиц и площадей претерпели замену<sup>6</sup>.

На каких направлениях сосредоточились изменения? Прежде всего были устранены все имена, так или иначе напоминавшие о религии. Далее следовали названия, отражавшие связь с социальным делением прежнего режима. Частично под каток переименования попадали и некоторые нейтральные в отношении политики названия — какие-то носили дублирующий характер, отличаясь от одноименных только порядковым номером; какие-то, очевидно, были оценены как недостаточно выразительные для прорисовки новой картины мира, в то время как места для закрепления нужных смыслов и образов на карте центральной части города были все-таки ограничены.

Подобно агитационным плакатам новые имена сообщали в публичное пространство идеи социального равенства и справедливости, чувствовали идеологов и лидеров международного коммунистического движения, напоминали о знаковых событиях, объединяющих всех трудящихся, воздавали дань памяти героям, отдавшим свои жизни за «правое дело». Позволим себе привести лишь некоторые из красноречивых примеров переименований 1919 года (табл. 1).

Таблица 1

#### Переименование топографических объектов Екатеринбурга в 1919 году

Новое название	Прежнее название
<i>ул. Вайнера</i> (Л. Вайнер — революционер, членом Екатеринбургского комитета РСДРП(б), погиб во время Гражданской войны на Урале)	<i>ул. Успенская</i>
<i>ул. Всеобуча</i>	<i>ул. 1-я Успенская</i>
<i>набережная Рабочей Молодежи</i>	<i>ул. 1-я Береговая</i>
<i>ул. Карла Маркса</i>	<i>ул. Крестовоздвиженская</i>
<i>ул. Клары Цеткин</i>	<i>переулок Вознесенский</i>
<i>ул. Карла Либкнехта</i>	<i>ул. Вознесенская</i>
<i>ул. Красноармейская</i>	<i>ул. Солдатская</i>
<i>проспект Ленина</i>	<i>Главный проспект</i>
<i>площадь Максима Горького</i>	<i>Симеоновская площадь</i>
<i>ул. Малышева</i> (в честь уральского большевика И. М. Малышева — красноармейца, погибшего во время Гражданской войны на Урале)	<i>Покровский проспект</i>
<i>ул. Матроса Хохрякова</i> (позже <i>Хохрякова</i> ; П. Хохряков — член исполкома Екатеринбургского Совета, руководитель городского штаба Красной армии, погиб во время Гражданской войны на Урале)	<i>ул. Тихвинская</i>
<i>ул. Народной Воли</i>	<i>ул. Монастырская</i>

<sup>6</sup> Следующие волны переименований, пришедшиеся на 1930–1940-е годы, дополнительно почти стерли значительную часть топонимии дореволюционного Екатеринбурга (Чирков, 2020).



Окончание табл. 1

Новое название	Прежнее название
<i>ул. Октябрьской революции</i>	<i>ул. Коробовская</i>
<i>площадь Парижской Коммуны</i>	<i>Дровяная площадь</i>
<i>ул. Первомайская</i>	<i>ул. Клубная</i>
<i>ул. Пролетарская</i>	<i>ул. Офицерская</i>
<i>ул. Радищева</i>	<i>ул. Отрясихинская</i>
<i>ул. Розы Люксембург</i>	<i>ул. Златоустовская</i>
<i>ул. Сакко и Ванцетти</i>	<i>ул. Усольцевская</i>
<i>ул. Свердлова</i>	<i>Арсеньевский проспект</i>
<i>ул. Стеньки Разина (позже Степана Разина)</i>	<i>ул. Спасская</i>
<i>ул. Тверитина (в честь большевика В. Тверитина, погибшего во время Гражданской войны на Урале)</i>	<i>ул. Симеоновская</i>
<i>ул. Толмачева (в честь Н. Толмачева, члена Уральского областного комитета РСДРП(б), погибшего во время Гражданской войны на Урале)</i>	<i>ул. Колобовская</i>
<i>площадь Труда</i>	<i>Церковная площадь</i>
<i>площадь Уральских Коммунаров</i>	<i>Верх-Исетская площадь</i>
<i>ул. Февральской революции</i>	<i>ул. Ломаевская</i>
<i>ул. Шейнкмана (соратника Я. Свердлова, казненного в Казани во время Гражданской войны)</i>	<i>ул. Коковинская</i>
<i>ул. Энгельса</i>	<i>ул. Малаховская</i>
<i>площадь 1905 года</i>	<i>Кафедральная площадь</i>
<i>ул. 8 Марта</i>	<i>ул. Уктусская</i>

Итак, переименование символизировало закладку новой идентичности, а ее основные мировоззренческие посылы — Октябрьская революция как начало новой истории, гуманистическая ценность труда и труженика, героизм и священные жертвы борцов за новую жизнь — находят воплощение в измененном топонимическом тексте.

В советское время Свердловску был дан мощный импульс к развитию, заложенный уже в планах 1920—1930-х годов. В курсе на формирование одного из крупнейших индустриальных центров страны — «локомотива» металлургической промышленности и машиностроения — продолжилась «заводская» судьба города, но уже в иных масштабах, в ином темпе и наполнении.

На окраинных землях в ходе запуска новых заводов растут окружающие их соцгородки. Это поселения нового типа, «городки в городе», спланированные и обустроенные по обновленной науке и технике градостроительства, с рациональной поквартальной разбивкой и закладкой социальной инфраструктуры — объектов, связанных со здоровьем, обучением и досугом жителей. Так, вокруг «Уральского завода тяжелого машиностроения имени С. Орджоникидзе» вырастает *Орджоникидзевский район* (по-народному *Уралмаш*).

Уралмашевские улицы, бульвары, проспекты, площади — широкие, удобные, хорошо озелененные — получили названия, всецело поддерживающие имидж образцового социалистического города: *Ильича, Ин-*



*дустриальная, Культуры, Машиностроителей, Первой Пятилетки, Стахановская, Красных Борцов, Красных Партизан, Банникова, Орджоникидзе, Уральских Рабочих.*

Сходная судьба у территорий соцгородков *Эльмаш* (рядом с заводами «Уралэлектроаппарат» и «Турбомоторный»), *Химмаш* (возле «Уральского завода химического машиностроения»), обновленный ВИЗ (возле исторического «Верх-Исетского металлургического завода»).

Особой ролью отличался *Втузгородок* – новый район, центр которого образовали здания и кампус Уральского политехнического института (УПИ) и корпуса Уральского филиала Академии наук СССР. На время своего создания Уральский политех объединял 10 втузов (высших технических учебных заведений), отсюда и произошло название всего района.

С 1930-х по 1960-е годы во Втузгородке разместили еще более десятка высших и средних профессиональных заведений. Поэтому имена улиц последовательно поддерживали специфику территории и ее особую атмосферу: *Академическая, Комвузовская, Комсомольская, Студенческая, Профессорская, Технологическая, Лобачевского, Лодыгина, Софьи Ковалевской.*

Со временем город окончательно утверждается как крупный промышленный, научный и культурный центр. Количество урбанонимов, созданных в это время, огромно. Рассмотрим, как обновляется топонимический портрет Свердловска и какие доминанты он репрезентирует. Смелые эксперименты в части планировочных, архитектурных, строительных решений воплотились в авангардном направлении конструктивизма, идеология которого способствовала появлению новых внутригородских коммун – «городков», «домов», объединявших жителей по принципу совместного труда либо быта или досуга.

Слово «дом» в это время расширяет свой семантический объем и начинает применяться как часть индивидуализирующего обозначения, передавая новую топографическую семантику. В Свердловске мы находим его применения в значениях:

– «место осуществления деловой активности организации»: *Дом контор, Дом обороны, Дом связи, Дом печати, Дом промышленности;*

– «место со специально обустроенными бытовыми условиями для разных групп граждан»: *Дом колхозника, Дом крестьянина, Дом специалистов, Дом старых большевиков;*

– «место просвещения и культурного проведения досуга»: *Дом актера, Дом пионеров и школьников, Дом науки и техники, Дом культуры металлургов, Дом культуры железнодорожников и др.*

У слова «городок» развилась своя урбанонимическая семантика. Если обозначение «соцгород» применяют в отношении новых районов и микрорайонов только в текстах описания, однако на карте и в самих именах оно не фигурирует, то *городок*, передавая идею объединения зданий, сооружений для выполнения комплексного назначения, «встраивается» в имена собственные.

«Городковые» имена возникают главным образом в тридцатые годы – время увлечения архитекторов идеями конструктивизма и футуристи-



ческими концепциями нового городского быта. «При этом не было единой точки зрения на сам архитектурно-планировочный тип нового жилища. Одни предлагали ориентироваться на рабочий поселок-коммуна... другие главную роль отводили комплексным домам-коммунам с обобществлением быта, третьи считали необходимым разработать переходный тип дома, который способствовал бы постепенному внедрению в быт новых форм» (Хан-Магомедов, 1975, с. 79). В Свердловске, где увлечение конструктивизмом было очень сильно, апробировались все подходы, и в результате появились «ведомственные» кварталы и жилые комплексы разной степени сложности. Как правило, здесь интегрировались в одном пространстве административные и жилые здания, учреждения для детей, места для бытового сервиса и для проведения досуга. Были построены *Первый* и *Второй городок Военведа* (военного ведомства), *Городок юстиции*, *Медицинский городок*, *Жилой комбинат НКВД*, получивший народное название *Городка чекистов*.

Сами укрупненные названия экспериментальных построек «*Фабрика-кухня*», «*Жилой комбинат*», «*Жилой дом Облсовета*» свидетельствуют о подчинении частного коллективному, рисуют микромоделли жизни, построенной на принципах коллективизма, и уподобляют город производственному механизму, чьим интересам служит его трудовое население.

За советский период топонимикон города увеличился в более чем 100 раз. К 1990-м годам на карте города зафиксировано свыше 1200 названий для улиц, переулков, проездов, площадей, бульваров, скверов, аллей, парков. Это огромный именной массив. Екатеринбургский лингвист Ю. А. Качалкова сделала подробное описание тех семантических моделей, которые действовали в разных именных разрядах (Качалкова, 2013). Используя далее ее наблюдения, мы перечислим лишь некоторые из моделей, представленных в самой многочисленной группе — группе названий-посвящений:

1. Мемориальные названия — посвящения отдельным лицам: а) деятелям революционного движения, героям революции и Гражданской войны, партийным и хозяйственным руководителям; б) деятелям науки и искусства (русским, советским, зарубежным писателям и поэтам, а также художникам, музыкантам, композиторам, певцам); в) героям Великой Отечественной войны; г) историческим деятелям России;

2. Коллективные посвящения: а) рабочим династиям; б) профессиям; в) социальным группам, объединенным теми или иными общими интересами; г) социально-возрастным группам; д) профессиям; д) республикам и народам СССР;

3. Посвящения природным объектам Урала и Советского Союза;

4. Посвящения городам и поселкам Урала;

5. Посвящения городам СССР и городам стран социалистического содружества;

6. Посвящения памятным и праздничным датам (Качалкова, 2013, с. 91–96).

Перечень весьма репрезентативен и свидетельствует о том, что доминирующую роль в топонимическом тексте советского времени иг-



рают социально-функциональный и социально-символический коды, причем нередко они объединяются, работая на трансляцию целостного смыслового «аккорда». Например, название *улицы Строителей* передает уважительное отношение к людям данной профессии и одновременно поддерживает мировоззренческую идею ценности труда и труженика. Названия *улиц Грузинская, Латышская, Монгольская* не только отдают дань уважения адресатам посвящения, но и несут идею межнациональной дружбы.

Нельзя не упомянуть еще об одной топонимической новации, относящейся в последней трети XX в. Это условно-символические имена декоративного свойства. Они призваны вызывать приятные эмоции, положительные оценки, лирические, красочные либо абстрактные образы, см.: *переулок Лазурный, улицы Вишневая, Сиреневая, Звездная, Отрадная, Медовая* и т. п.

Некоторые из декоративных топонимов направлены на отражение черт местного колорита. Для Свердловска репрезентативной в этом отношении является тема богатства каменных недр Урала, и она достаточно подробно разрабатывается в городских названиях: *улицы Агатова, Аквамариновая, Алмазная, Аметистовая, Родонитовая, Топазовая, Хрустальная, переулки Изумрудный, Малахитовый, Тальковый, бульвар Самоцветный*.

Нужно сказать, что в целом заметное распространение в свердловской топонимии декоративные имена получают с 1960–1970-х годов при одновременном росте их популярности в сфере собственных имен для предприятий сферы торговли и услуг. Возможно, общая социальная «оттепель» дала в этом случае старт для отхода от жестких политических и идеологических установок и побудила к творческим поискам в области урбанонимического нейминга.

Если выводить образ Свердловска, представленный в его топонимическом отражении, то он предстает как территория мощной промышленной активности и город, прочно вписанный в историю Советского государства – его трудовую, военную, научную, инженерно-техническую, культурную, образовательную деятельность; город, поддерживающий единые для всего государства идеологические установки и культурные ценности советского народа.

### *Новый Екатеринбург (1991 – по настоящее время)*

Современный Екатеринбург представляет собой мегаполис с населением около 1,5 млн человек. Это четвертая по величине агломерация России, третья среди наиболее развитых постиндустриальных агломераций наряду с Московской и Санкт-Петербургской.

Город обрел прежнее имя 24 сентября 1991 года и начал примерять его к своей постсоветской жизни. Одним из путей культурного «цитирования» прошлого и означивания связей с дореволюционным символическим капиталом могло бы стать восстановление части дореволюционной топонимии. Но, несмотря на бурные общественные обсужде-



ния, реконструкции дореволюционных названий не произошло<sup>7</sup>. Лишь отдельные топонимы — *улица Мельковская* и *Опалихинская* — были восстановлены на карте города. Кроме того, из топонимии убрали несколько имен наиболее одиозных личностей, а некоторые знаковые реалии сегодняшней общественно-политической жизни — коммеморация погибшей в 1918 году в Екатеринбурге царской семьи и увековечивание имени первого президента России Б.Н. Ельцина — получили, напротив, топонимическое развитие. Список переименований в новом Екатеринбурге весьма краток (табл. 2).

Таблица 2

### Переименования в Екатеринбурге конца XX — начала XXI века

Новое название	Прежнее название
реконстр. <i>ул. Мельковская</i>	<i>ул. Жданова</i>
реконстр. <i>ул. Опалихинская</i> (по некогда расположенной в ее пределах <i>ул. Опалихинской</i> )	<i>ул. Каляева</i> (И.П. Каляев, революционер, эсер, участник террористических актов)
<i>ул. Данилы Зверева</i> (в честь известного уральского горщика)	<i>ул. Голощекина</i> (Ф.И. Голощекин — революционер, член Екатеринбургского комитета РСДРП(б); считается одним из организаторов расстрела царской семьи в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге)
<i>ул. Высоцкого</i> (в честь известного советского барда и актера Владимира Высоцкого)	<i>ул. Юровской</i> (Римма Юровская — организатор молодежного коммунистического движения на Урале и дочь Якова Михайловича Юровского, который был непосредственным руководителем расстрела семьи Романовых)
<i>ул. Бориса Ельцина</i>	<i>ул. 9 Января</i> (названная в память о событиях 9 января в Петербурге, известных как «Кровавое воскресенье»)
<i>ул. Царская</i> (отрезок <i>ул. Толмачева</i> , рядом с Храмом-на-Крови, построенным на месте дома Ипатьева, где в 1918 году были расстреляны отрешившийся царь Николай II и члены его семьи)	часть <i>ул. Толмачева</i>

Основной каркас топонимического ландшафта составляют имена, созданные в советское время. Продолжают свое действие в качестве

<sup>7</sup> Хотя, на наш взгляд, историческую глубину центра города можно было подчеркнуть, вернув названия *Вознесенскому проспекту* (вместо *ул. Карла Либкнехта*), тем более что на нее выходит действующая в настоящее время *церковь Вознесения Господня*; *Екатерининской площади* (вместо *площади Труда*), поскольку рядом возведена и работает *часовня Св. Екатерины*; *Театральной площади* (вместо *площади Парижской Коммуны*), так как с прежним названием связан расположенный здесь Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.



привычных номинативных схем закрепившиеся тогда же наиболее продуктивные семантические модели. В первую очередь это коммеморация с модальностью «в честь...», «во имя...», что не может не приводить к некоторой однообразности номинативных решений.

Однако в топонимических практиках дня сегодняшнего находят воплощение специфические черты современной социокультурной ситуации. Так, вместе с возрождением деятельности православной церкви возвращаются в городской текст имена соборов и монастырей, к сожалению, уже не имеющие семантической поддержки в названиях расположенных рядом улиц и площадей.

Обратимся к текущим топонимическим практикам и тем росткам нового, которые отвечают интересам продвижения территории. Не стоит видеть за словом «продвижение» сугубо экономические выгоды: они, конечно же, есть, но не менее важным оказывается формирование обновленного представления о городе у его жителей — формирование интереса, приверженности, самоидентификации — того, что связано с локальной идентичностью.

Среди городских топонимов быстро разрастается разряд ойкодомонимов — имен отдельных зданий и сооружений. Его активно пополняют имена бизнес-центров, торговых центров, жилых комплексов, и этот урбанонимический материал вносит в топонимический ландшафт новые характеристики и смыслы. Остановимся лишь на некоторых из них.

Екатеринбург сохраняет серьезные амбиции на лидерство не только в Уральском регионе, поэтому закономерно, что появление в центральной части города брендируемой территории — делового квартала *Екатеринбург-Сити* (названного по аналогии с *Москва-Сити* и *Лондон-Сити*) — представляет собой своего рода послание, демонстрирующее амбиции уральских игроков бизнеса.

В реализации проекта *Екатеринбург-Сити* сочетаются интересы власти и бизнеса, и показательно, что названия высотных офисных зданий в деловом квартале последовательно транслируют ключевые образы из представлений о городе в целом и о тех исторических деятелях, чьи властные полномочия и / или хозяйственная предприимчивость способствовали развитию территории: *бизнес-центры*, *башни «Исеть»*, *«Урал»*, *«Татищев»*, *«Де Геннин»*, *«Екатерина»*, *«Демидов»*.

В обойме имен небоскребов, которые, по замыслу авторов проекта, должны были сформировать высотную доминанту в центре города, хорошо просматривается действие условно-символической номинации. С ее помощью прорисовывается историческая глубина Урала промышленного и возвеличивается наследие дореволюционной деловой активности.

Коммерческая застройка не подчиняется муниципальным нормативным документам, регламентирующим именование пространственных объектов, и это обстоятельство изначально создает риски для появления нелепых либо претенциозных имен. Однако находятся и такие интересные решения, которые позволяют «вживить» новое в уже созданный топонимический ландшафт и, более того, сделать ярче стертую мотивировочную семантику давно существующих названий.



Интересный пример тому — жилой комплекс (ЖК) «*Квартал Художников*». Комплекс построен между улицами, которые носят имена художников — *улица Айвазовского* и *улица Серова*. Заданная этими именами живописная тема нашла продолжение как в архитектурном решении самого жилого здания, так и в дизайне его внутреннего пространства. В подъездах разместилась галерея портретов художников: И. Айвазовского, В. Серова, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана, А. Куинджи. В каждом подъезде — портрет художника и его изречение. Таким образом, ключевой мотив — тема живописи, отраженная в мемориально-символических названиях улиц, получила развитие в синкретическом соединении живописи и архитектуры и реализовалась в полисемиотическом локальном микротексте (Голомидова, 2019, с. 20–21).

В новом Екатеринбурге есть запрос на интеграцию исторического контекста в современное пространство, поэтому удачный нейминг может связать архитектурный и топонимический «антиквариат». Как это происходит в названии ЖК «*Макаровский*», расположенного возле Макаровского моста и Макаровской мельницы (построены в XIX веке). Строительство комплекса велось параллельно с капитальной реконструкцией *Макаровского моста*, а помещение *Макаровской мельницы* вошло в территорию жилого квартала. Сейчас на этажах реновированной мельницы расположились видовые пентхаусы с окнами на городской пруд. Зонтичное имя «*Макаровский*» в этом случае связало все знаки исторического и современного пространства.

Аналогично обстоят дела с названием «*Мельница*» для ЖК, включившего в свое пространство отреставрированное здание старинной мельницы *Борчанинова-Первушина*.

Семиотическое связывание фрагментов территории, исторические корни которого уходят в предшествующий опыт, в новейшее время продолжает блочное название, когда обширный район девелоперского освоения изначально создается в технологии брендинга, и общая его концепция поддерживается и развивается названиями улиц, бульваров и досуговых зон.

Современная урбанонимия Екатеринбурга демонстрирует популярность коммеморативного и условно-символического названия, но развернутого в большей степени к фактам региональной истории и культуры.

В топонимическом означивании сохраняется тенденция семантического «связывания» урбанонимов и создания семиотических ансамблей, в которых архитектурно-планировочный образ места завершается и дорисовывается именами собственными его объектов.

Топонимический текст представляет городское пространство динамичным, расширяющимся, быстро обновляемым, сочетающим знаки разных исторических слоев, которые могут диссонировать, но могут и дополнять и обогащать друг друга.

Образ города раскрывается в характеристиках мегаполиса, встроеного в жизнь региона и страны, открытого влиянию разных культур, обладающего сильными производственными традициями и одновременно трансформирующегося в сервисный и креативный глобальный





город. Отчасти его урбанонимический портрет содержит черты семиотической пестроты и противоречий, отчасти показывает постепенное обретение идентичности, в которой синтезируется прошлый и современный опыт.

## 5. Заключение

Рассмотренный материал позволяет утверждать, что движение топонимического хронотопа обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. В то время как внешние факторы лежат на поверхности и напрямую диктуются условиями социальной жизни, внутренние факторы кроются в аккумулярующей способности самой топонимической системы накапливать и преобразовывать информацию. Внутри каждого из хронотопических срезов состояние топонимиконов не остается стабильным. Каждый виток сопровождается внутренним развитием и появлением вариантов, отклоняющихся от прежних моделей.

В топонимии дореволюционного города наблюдается развитие социально-функционального кода в сторону усиления коммеморации, в то время как социально-символический код продуцирует условно-символическую номинацию экспрессивного характера. Этот опыт сохранится в культуре и, несмотря на радикальную перестройку общественного сознания в советское время, будет продолжен в топонимических практиках.

Смещение посвящения и условно-символического именованья к концу советского периода развивает новые варианты именованья, которые несут в себе синкретичные смыслы. Они, в свою очередь, переходят по наследству в новейшее время и продолжают развитие уже в качестве инструментов вербально-имиджевого нейминга и активно сочетаются с невербальными знаковыми формами.

Образ Екатеринбурга в топонимическом тексте, движущемся на протяжении 300-летней истории города, развивается от частицы горно-заводской цивилизации к мегаполису, включенному в глобальные процессы. Однако сохранение в урбанонимах некоторых смысловых доминант прошлого свидетельствует об их значимости для формирования современной территориальной идентичности. Выраженная в топонимическом тексте, она показывает город в специфических свойствах его «уральскости».

## Список литературы

*Анисимов Н.О.* Город в дискурсе семиотики // *Juvenis scientia: Философские и социологические науки.* 2018. №12. С. 33–35. <https://doi.org/10.32415/jscientia.2018.12.09>.

*Артамонова И.* Как менялись названия екатеринбургских улиц // *Областная газета.* 2013. 6 сент. URL: <https://www.oblgazeta.ru/society/12196/> (дата обращения: 09.09.2022).

*Барбошина Н.В.* Хронотоп малого города: Бузулук – культурное пограничье : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Саранск, 2013.



Березович Е.Л. Топонимическое пространство как текст // Ежегодник Научно-исследовательского института русской культуры. 1994. Екатеринбург, 1995. С. 86–95.

Булгыгина Е.Ю., Трипольская Т.А. Язык городского пространства: словарь, карта, текст. М., 2015.

Бурлина Е.Я. «Что ни город, то хронотоп». Пространственно-временная диагностика города // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. №9 (63), ч. 1. С. 103–108. <https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.63.035>.

Голомидова М.В. Образ пространства и пространственный образы в названиях старого Екатеринбурга // Ежегодник Научно-исследовательского института русской культуры. 1994. Екатеринбург, 1995. С. 19–25.

Голомидова М.В. Урбанонимы как ресурс управления восприятием городского пространства // Коммуникативные исследования. 2019. Вып. 6, №1. С. 11–30. [https://doi.org/10.25513/2413-6182.2019.6\(1\).11-30](https://doi.org/10.25513/2413-6182.2019.6(1).11-30).

Зорина Л.И., Слукин В.М. Улицы и площади старого Екатеринбурга. Екатеринбург, 2005.

Иванов А. Хребет России. М., 2022.

Иванов Вяч. Вс. К семиотическому изучению культурной истории большого города // Семиотика пространства и пространство семиотики. Труды по знаковым системам (вып. 19). Тарту, 1986. С. 7–24.

Касаткина С.С. Взаимосвязь традиционного и системно-семиотического подходов к типологии городского пространства России в философской интерпретации // Известия вузов. Сер.: Гуманитарные науки. 2015. №6 (3). С. 195–198.

Качалкова Ю.А. Урбанонимическое пространство современного Екатеринбурга (официальные названия) // Вопросы ономастики. 2013. №1 (14). С. 88–104.

Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Семиотика города и городской культуры. Труды по знаковым системам (вып. 18). Тарту, 1984. С. 30–45.

Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Избр. статьи : в 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1 : Статьи по семиотике и топологии культуры. С. 191–199.

Митин И.И. Место как палимпсест // 60 Parallel. 2008. №4 (31). С. 20–25.

Митин И.И. Город как палимпсест: от историко-географической метафоры к семиотической модели территориального управления // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2022. №1. С. 108–125. <https://doi.org/10.31249/chel/2022.01.06>.

Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / под ред. А.В. Суперанской. М., 1988.

Сверчков Д. Почему 90 лет назад Екатеринбург превратился в Свердловск? // Комсомольская правда. 2014. 16 окт. URL: <https://www.ural.kp.ru/daily/26296/3173845/> (дата обращения: 09.09.2022).

Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003.

Успенский Б.А., Лотман Ю.М. Отзвуки концепции «Москва Третий Рим» в идеологии Петра Первого (к проблеме средневековой традиции в культуре барокко) // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. М., 1976. С. 236–249.

Хан-Магомедов С.О. 1917–1932. Архитектура жилых зданий // Всеобщая история архитектуры. М., 1975. Т. 12, кн. 1 : Архитектура СССР. С. 78–97.

Чирков С. Нейминг города. Зачем улицы меняют имена // Городское медиа ЕТВ. 2020. 8 нояб. URL: [https://art-oleg.blogspot.com/2020/11/blog-post\\_8.html](https://art-oleg.blogspot.com/2020/11/blog-post_8.html) (дата обращения: 09.09.2022).

Шарифуллин Б.Я. Языковое пространство: языковой быт и коммуникативная среда города // Язык города : матер. Междунар. науч.-практ. конф. Бийск, 2007. С. 45–50.



Marin A. Bordering Time in the Cityscape. Toponymic Changes as Temporal Boundary-Making: Street Renaming in Leningrad / St. Petersburg // Geopolitics. 2012. Vol. 17, №1. P. 192–216. <https://doi.org/10.1080/14650045.2011.574652>.

### Об авторе

Марина Васильевна Голомидова, доктор филологических наук, профессор, Уральский федеральный университет, Россия.

Email: [marinagolomidova@urfu.ru](mailto:marinagolomidova@urfu.ru)

ORCID ID: 0000-0001-7951-9208

### Для цитирования:

Голомидова М. В. Екатеринбург – Свердловск – Екатеринбург: образ города в динамике топонимического текста // Слово.ру: балтийский акцент. 2023. Т. 14, №1. С. 29–53. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-2.



Представлено для возможной публикации в открытом доступе в соответствии с условиями лицензии CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## EKATERINBURG – SVERDLOVSK – EKATERINBURG: THE CITY IMAGE IN THE DYNAMICS OF A TOPONYMIC TEXT

M. V. Golomidova

Ural Federal University,  
16 Chapayev Str., Ekaterinburg, 620142, Russia  
Submitted on September 09, 2022  
Accepted on November 15, 2022  
doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-2

*The article is devoted to reflecting the image of a city in verbal data – topographic names. The author bases the research upon the ideas of the cultural-semiotic approach to city studies, upon the conception of a city as a text and palimpsest and sets the goal of investigating semantic changes in the toponymic text of Ekaterinburg examined in its historical dynamics. The main stages of modification of the Ural city toponymic image are characterized via the metaconcept of chronotopos. As a tool of linguocultural analysis per se, generalised onomasiological, semantic models, or cultural semantic codes, are used. These involve landscape-distinctive, social-functional and social-symbolic codes. The paper defines the specificity of the realisation of cultural semantic codes in the toponymy (urbanonymy) of Ekaterinburg relative to three chronotopic junctures determined by the city renaming landmark acts – Ekaterinburg, Sverdlovsk, Ekaterinburg. Topical meanings are revealed in the toponymic portrait of the city in different periods of its life. The changes that increase in the toponymy in the framework of one chronotopic juncture and contribute to the transference of a part of cultural experience to the next historic period are traced. In the image of Ekaterinburg represented in its toponymic text, traits of the city's territorial identity underpinned by its natural and geographical, economic and social factors are indicated.*

**Keywords:** city image, toponymy, toponymic text, cultural semantic code, landscape-distinctive code, social-functional code, social-symbolic code, toponymic landscape, Ekaterinburg, Sverdlovsk

### References

Anisimov, N. O., 2018. City in discourse of semiotics. *Juvenis scientia*, 12, pp. 33–35, <https://doi.org/10.32415/jscientia.2018.12.09> (in Russ.).



Artamonova, I., 2013. How the names of Yekaterinburg streets changed. *Oblastnaya gazeta* [Regional newspaper]. Available at: <https://www.oblgazeta.ru/society/12196/> [Accessed 15 November 2022] (in Russ.).

Baraboshina, N. V., 2013. *Khronotop malogo goroda: Buzuluk – kul'turnoe pogranich'e* [Chronotope of a small town: Buzuluk – cultural frontier]. PhD thesis. Saransk (in Russ.).

Berezovich, E. L., 1995. Toponymic space as a text. In: *Ezhegodnik Nauchno-issledovatel'skogo instituta russkoi kul'tury. 1994* [Yearbook of the Scientific Research Institute of Russian Culture. 1994]. Ekaterinburg, pp. 86–95 (in Russ.).

Bulygina, E. Yu. and Tripol'skaya, T. A., 2015. *Yazyk gorodskogo prostranstva: slovar', karta, tekst* [The language of urban space: dictionary, map, text]. Moscow (in Russ.).

Burlina, E. Y., 2017. "So many cities so many chronotopes". Spatial-temporal diagnostics of the city. *International Research Journal*, 09 (63), pp. 103–108, <https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.63.035> (in Russ.).

Chirkov, S., 2020. Naming of the city. Why do streets change names. *Gorodskoe media ETV* [Urban Media ETV]. Available at: [https://art-oleg.blogspot.com/2020/11/blog-post\\_8.html](https://art-oleg.blogspot.com/2020/11/blog-post_8.html) [Accessed 15 November 2022] (in Russ.).

Golomidova, M. V., 1995. The image of space and spatial images in the names of old Yekaterinburg. In: *Ezhegodnik Nauchno-issledovatel'skogo instituta russkoi kul'tury. 1994* [Yearbook of the Scientific Research Institute of Russian Culture. 1994]. Ekaterinburg, pp. 19–25 (in Russ.).

Golomidova, M. V., 2019. Urbanonyms as a resource of management of urban space perception. *Communication Studies (Russia)*, 6 (1), pp. 11–30, [https://doi.org/10.25513/2413-6182.2019.6\(1\).11-30](https://doi.org/10.25513/2413-6182.2019.6(1).11-30) (in Russ.).

Ivanov, A., 2022. *Khrebet Rossii* [The Backbone of Russia]. Moscow (in Russ.).

Ivanov, Vyach. Vs., 1986. Towards the Semiotic Study of the cultural history of the Big City. *Trudy po znakovym sistemam (Uchenye zapiski Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta. Vyp. 720)* [Sign Systems Studies (Scientific letters of The University of Tartu. Issue 720)]. Tartu, pp. 7–24 (in Russ.).

Kachalkova, Yu. A., 2013. Urbanonymic space of contemporary Ekaterinburg (official names). *Voprosy onomastiki* [Problems of Onomastics], 1 (14), pp. 88–104 (in Russ.).

Kasatkina, S. S., 2015. The relationship of traditional and systemic-semiotic approaches to the typology of urban space of Russia in philosophical interpretation. *News of Higher Schools. Series "Humanities"*, 6 (3), pp. 195–198 (in Russ.).

Khan-Magomedov, S. O., 1975. Architecture of residential buildings. 1917–1932. In: N. V. Baranov, ed. *Vseobshchaya istoriya arkhitektury. Tom 12. Kniga peroyaya. Arkhitektura SSSR* [General history of architecture. Volume 12. The first book. Architecture of the USSR]. Moscow, pp. 78–97 (in Russ.).

Lotman, Yu. M., 1984. The symbolism of St. Petersburg and the problems of the semiotics of the city. In: *Trudy po znakovym sistemam. Semiotika goroda i gorodskoi kul'tury*. [Sign Systems Studies. Semiotics of the city and urban culture], 18. Tartu, pp. 30–45 (in Russ.).

Lotman, Yu. M., 1992. A symbol in the cultural system. In: Yu. M. Lotman, ed. *Izbrannyye stat'i v trekh tomakh. T. 1. Stat'i po semiotike i topologii kul'tury* [Selected articles in three volumes. Vol. 1. Articles on semiotics and topology of culture]. Tallinn, pp. 191–199 (in Russ.).

Marin, A., 2012. Bordering Time in the Cityscape. Toponymic Changes as Temporal Boundary-Making: Street Renaming in Leningrad/St. Petersburg. *Geopolitics*, 17 (1), pp. 192–216, <https://doi.org/10.1080/14650045.2011.574652>.

Mitin, I. I., 2008. Place as Palimpsest. *60 Parallel*, 4 (31), pp. 20–25 (in Russ.).

Mitin, I. I., 2022. City as palimpsest: from a metaphor within Historical Geography towards a semiotic model of place management. *Chelovek: obraz i sushchnost'. Gumanitarnyye aspekty* [Human Being: Image and Essence. Humanitarian Aspects], 1 (49), pp. 108–125. <https://doi.org/10.31249/chel/2022.01.06> (in Russ.).



Podol'skaya, N. V., 1988. *Slovar' russkoi onomasticheskoi terminologii* [Dictionary of Russian Onomastic Terminology]. 2nd ed. Moscow (in Russ.).

Sharifullin, B. Ya., 2007. Language space: language life and the communicative environment of the city. In: *Yazyk goroda: Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [The language of the city: Materials of the International Scientific and Practical Conference]. Biysk, pp. 45–50 (in Russ.).

Sverchkov, D., 2014. Why did Yekaterinburg turn into Sverdlovsk 90 years ago? *Komsomol'skaya Pravda* [Komsomolskaya Pravda]. Available at: <https://www.ural.kp.ru/daily/26296/3173845/> [Accessed 15 November 2022] (in Russ.).

Toporov, V. N., 2003. *Peterburgskii tekst russkoi literatury* [The Petersburg text of Russian literature]. St. Petersburg (in Russ.).

Uspenskii, B. A. and Lotman, Yu. M., 1976. Echoes of the concept of “Moscow the Third Rome” in the ideology of Peter the Great (on the problem of medieval tradition in Baroque culture). In: *Kul'turnoe nasledie Drevnei Rusi (Istoki. Stanovlenie. Traditsii)* [The cultural heritage of Ancient Russia (Origins. Becoming. Traditions)]. Moscow, pp. 236–249 (in Russ.).

Zorina, L. I. and Slukin, V. M., 2005. *Ulitsy i ploshchadi starogo Ekaterinburga* [Streets and squares of old Yekaterinburg]. Ekaterinburg (in Russ.).

### The author

*Dr Marina V. Golomidova*, Professor, the Department of Foreign Languages; Professor, the Department of Integrated Marketing Communications and Branding, Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia.

Email: [marinagolomidova@urfu.ru](mailto:marinagolomidova@urfu.ru)

ORCID ID: 0000-0001-7951-9208

### To cite this article:

Golomidova, M. V., 2023, Ekaterinburg – Sverdlovsk – Ekaterinburg: the city image in the dynamics of a toponymic text, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 14, no. 1, p. 29–53. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-2.



## СЕМИОТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МИНСКА В РОМАНЕ В. МАРТИНОВИЧА «МОВА»

*О. А. Гриневич*

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы  
Республика Беларусь, 230023 Гродно, ул. Ожешко, 22  
Поступила в редакцию 13.04.2022 г.  
Принята к публикации 15.11.2022 г.  
doi: 10.59222225-5346-2023-1-3

*Цель статьи – выявить принципы организации городского пространства в романе В. Мартиновича «Мова». В силу того, что в основе романа лежит лингвистическая проблема (автор определяет жанр произведения как «лингвистический боевик»), репрезентация города в нем подчиняется языковым моделям и принципам. Главный из таких принципов – изоморфизм части и целого. Общность структуры разных уровней романа и романного пространства основана на приеме инверсии. Происходит перемещение ценностных полюсов внутри системы оппозиций на повествовательном, сюжетном и пространственном уровнях (в оппозициях агрессор – жертва, Восток – Запад, центр – периферия, свое – чужое). Изменяется общепринятая структура зон центра и периферии: периферия ассоциируется с упорядоченностью и нормой, а центр связывается с понятиями хаоса, неорганизованности, отклонения. Оппозиция своего и чужого (языка, пространства) выходит на первый план, что объясняется социокультурным контекстом белорусской литературы. Центр и периферия структурированы по разным культурологическим моделям: центр организован по дуальной модели, а периферия соответствует тернарной модели.*

**Ключевые слова:** Виктор Мартинович, городской текст, центр, периферия, система оппозиций, дуальная модель, тернарная модель

Семиотическая репрезентация города в литературном произведении подчиняется ряду универсальных закономерностей и содержит устойчивые элементы. В работе, посвященной Петербургскому тексту русской литературы, В.Н. Топоров выделяет среди таких элементов прежде всего мифологическое ядро, систему оппозиций, мотивов и образов, а также «петербургский словарь» (Топоров, 2003, с. 27). Кроме того, на наш взгляд, при использовании этой модели необходимо сосредоточить внимание на национальном и социокультурном контекстах. Актуальность данного аспекта исследования города обусловлена тем, что значимую часть семиосферы городского текста составляет представление жителей о собственной национальной, культурной, локальной идентичности, что отражается на структуре пространства.

Пространство города в современной литературе играет значительную роль. Современные авторы под влиянием постмодернистских представлений о мире как о тексте сознательно выстраивают текстоцентрическую пространственную модель произведения, основанную



на языковых законах. Такой логоцентризм характерен для творчества Виктора Мартиновича, современного белорусского писателя, журналиста и искусствоведа. В его романе «Мова» (2014) язык представлен как универсальный код, структурирующий подсознание человека и оказывающий наркотическое влияние на психику. Репрезентация пространства в романе также подчиняется законам языка. Важно отметить, что роман был опубликован сразу в двух вариантах — на русском языке с белорусскоязычными вставками и на белорусском языке, однако белорусскоязычное заглавие («Язык») в русском переводе осталось неизменным. Таким образом, уже с момента публикации текста лингвистическая проблематика выходит на первый план.

Одним из ключевых принципов, объединяющих структуру не только городского пространства, но и художественного языка романа, является изоморфизм части и целого как универсальный принцип языковой организации. Темы, мотивы, приемы, система оппозиций дублируются на разных уровнях текста разными художественными средствами. Ядро художественной системы романа — это идея инверсии ценностей и смыслов. Непривычное для читателя оборачивается привычным в художественном мире романа, отклонение становится нормой. Прием инверсии реализуется на разных уровнях текста.

*Жанровый уровень.* Жанровая разновидность романа тяготеет к антиутопии. Следует отметить, что в белорусской литературе отсутствует длительная традиция этого жанра, немногочисленные антиутопии опираются на русские и западноевропейские образцы. Как отмечает А. Ю. Смирнов, «поскольку классическая антиутопия (романы Е. Замятина “Мы” и О. Хаксли “О, дивный новый мир”) направлена на дискредитацию утопического идеала, то ее появление предполагает наличие развитой утопической традиции. В Беларуси, на протяжении столетий лишенной собственной государственности, такая традиция отсутствовала. Социальный идеал существовал на уровне народных мифопоэтических представлений о крестьянской идиллии. Наиболее ярко он представлен в либретто В. Дунина-Марцинкевича “Идылія”, стихотворных сборниках Ф. Богушевича “Дудка беларуская” и “Смык беларускі”, поэмах Я. Купалы “Яна і я”, Я. Коласа “Новая зямля” и др.» (Смирнов, 2010). Следствием этого стали архаические черты в белорусской антиутопии, ее родство со сказкой и мифом, «четкое деление на противоположности: город и деревня, наука и природа, чужой язык и родной язык, ложь (как правило, имеется в виду идеология) и истина» (Свечникова, 2004, с. 76–77). Черты белорусской антиутопии реализуются и в романе В. Мартиновича, однако собственное жанровое определение автора — «лингвистический боевик» — подразумевает, напротив, обращение к современной массовой культуре. Таким образом, вместо привычного для белорусской литературы обращения к фольклорно-мифологической традиции читатель сталкивается с адаптацией западного культурного канона, вобравшей в себя национальные черты.

*Нарративный уровень.* Повествование ведется от первого лица от имени двух персонажей поочередно. Таким образом, текст разделяется на две группы глав: первая называется «Барыга», вторая — «Джанки».



Первый рассказчик торгует наркотиками, второй — наркоман. По мере развития сюжета система читательских оценок распределяется вопреки общепринятой: в качестве жертвы и объекта читательского сопереживания выступает «барыга», наркоман же воспринимается как агрессор.

Тем не менее оба героя-рассказчика, несмотря на противоположность в роде занятий и характерах (простодушный и сентиментальный «барыга» и высокомерный интеллигент «джанки»), являются порождением одного общества, представление о котором читатель может получить из рассуждений «джанки». В романе показано общество будущего (4741 год по китайскому календарю соответствует 2044 году по григорианскому) после создания союзного государства России и Китая. Новое государство отделено от Евросоюза стеной, которая препятствует потоку беженцев из западных стран. В государстве множество религий, одна из самых популярных — поклонение известным модным брендам — восходит к буквализации фразеологизма «икона стиля». Систему власти представляет репрессивный государственный орган — Госнарконтроль, и его деятельность связана с ключевой лингвистической проблемой романа. Большая часть населения белорусских территорий, которые в романе именуются Северо-Западными, разговаривает на русском языке, наиболее амбициозные изучают китайский, а тексты на белорусском языке (на «мове») считаются опасным наркотиком, оказывающим сильное воздействие только на местных жителей («тутэйшых» — рус. «здешних»)<sup>1</sup>. Причем наркотический эффект такого текста ощущается только после первого прочтения, поэтому после «употребления» его уничтожают. За хранение «мовы» предусмотрено заключение до 10 лет, за продажу — пожизненный срок. Таким образом, здесь, напротив, наблюдается процесс метафоризации буквального значения — уничтожение текстов на «мове» выступает метафорой уничтожения национального наследия. «Мова» как национальный культурный код, хотя и вытесняется в официальных нарративах, является маркером городского пространства: ее символические обозначения оставляют в виде граффити на домах, где можно найти «барыг». Во-первых, это китайские иероглифы, составленные из слогов белорусского слова («мо» переводится как «чернила», «ва» означает «черепица»). Эти символы неслучайны в контексте изоморфной структуры романа, поскольку первый ассоциативно соотносится с языком и письмом, второй — с пространством (домом). Во-вторых, это буква ў, символизирующая уникальность белорусского языка (она есть только в белорусском алфавите). Эти обозначения, как и практику их использования в городском пространстве, можно интерпретировать в контексте понятия «иници-

<sup>1</sup> «Тутэйшыя» — историческое самоназвание жителей белорусских земель. В комедии Я. Купалы «Тутэйшыя» (1922) с помощью этого слова, используемого в сатирическом ключе, высмеивается отсутствие национального самосознания белорусов. Впоследствии ставшее культовым слово приобрело позитивный смысл, оно использовалось в названии музыкальной группы и молодежного объединения.





рованной идентичности», которое Э. А. Усовская определяет как семиотическое выделение определенных локаций города, придание им культурной значимости (Усовская, 2021, с. 110).

Сюжет романа разворачивается следующим образом: наркоторговец с не соответствующим его статусу именем Сережа (которому противопоставлен безымянный «джанки») случайно становится владельцем «друкаванки» — книги на белорусском языке. Сначала он планирует продать ее, но с ним связываются представители тайного общества, занимающегося восстановлением и сохранением белорусского культурного наследия. Книга становится ценным артефактом, в котором содержится утраченное носителями языка слово, обозначающее любовное чувство. Во главе тайной организации — женщина, называющая себя Цёткой. Это имя отсылает к литературному псевдониму писательницы Алоизы Пашкевич, представительницы белорусского национального возрождения конца XIX — начала XX века. Любовь к этой женщине побуждает героя начать изучение белорусского языка, способствует его ценностной трансформации. Однако один из его клиентов (второй рассказчик) убивает его. Последующие главы, написанные уже от лица соратников Сережи из тайной организации, описывают постепенное уничтожение мовы в ходе операции спецслужб.

Очевидно, что *на сюжетном уровне* происходит инверсия ценностей: национальный язык оказывается под запретом — более того, его запрет обосновывается не политическими причинами, не глобализационными установками на уничтожение национального своеобразия, что вписывалось бы в жанровый канон антиутопии, а на этической конструкции: борьба с языком преподносится как борьба за психическое здоровье граждан.

Изоморфизм художественной структуры романа проявляется в том, что прием инверсии затрагивает и *пространственный уровень*. Одним из базовых принципов семиотической репрезентации города в тексте является система оппозиций. В нее включаются как обозначающие границы города (деревня — город), так и характеризующие его внутреннюю структуру (вода — камень, свое — чужое, центр — периферия и т. д.) элементы. В репрезентации Минска ценностное наполнение оппозиций инверсируется или просто становится нерелевантным. Наиболее отчетливо этот процесс прослеживается на примере оппозиции *центр — периферия*. Минск утрачивает статус столицы, следовательно, деление на центр (административный, культурный, исторический) и периферию размывается. Некогда престижные районы становятся «периферийными». «Джанки» так описывает местонахождение офиса, в котором работает:

Для неместных или тех, кто читает мою рукопись в 6000-м году (потому что, согласен с Булгаковым, рукописи не горят): Город призраков — заброшенное предместье на берегу Свислочи, до этого имевшее название Троицкое. Еще тридцать лет назад всю недвижимость там скупили богатые русские нефтяники, которые мечтали построить там свои «летние резиденции», приезжать в «чистый и тихий Минск» в отпуск.



Потом грянул Союз с Китаем, и Минск превратился в такой же маленький заплыванный провинциальный городок, что и Москва, о которой они еще тридцать лет назад думали, что это центр вселенной, откуда они вселенной и управляют. Поэтому их резиденции так и остались стоять заброшенными. Все что можно украсть — украли тайцы и китайцы. Среди того, что осталось, работали мы (Марціновіч, 2021, с. 153)<sup>2</sup>.

Аналогичным образом утрачивает свое центральное положение и сакральный статус площадь Победы, в районе которой живет «джанки»:

Когда пришли китайцы, они сразу ощутили сакральный характер круглой площади, но поняли его, как всегда они все понимают, очень по-своему. Они сделали тут площадь Мертвых. Благодаря нашим пантеистическим братьям, цены на недвижимость в квартале катастрофически и навсегда упали. А я же помню, бабушка рассказывала, что когда-то район этот был одним из самых престижных, ведь барельефики с голубями на соседнем доме символизировали, что в нем размещались резиденции дипломатов (в те седые времена профессия дипломата еще считалась благородной — как профессия представителя Госнарконтроля сейчас) (Марціновіч, 2021, с. 43–44).

Вся семиотическая система прошлого утрачивает актуальность, однако сакральный статус места перемещается на периферию — как пространственную, так и временную (пространство смерти локализуется рядом с границей).

Троицкое предместье как исторический и культурный центр современного Минска и одно из туристических мест города утрачивает в романе «Мова» свой статус и становится периферией. В то же время Шанхай — минский чайна-таун с миллионным китайским населением — представляет собой город в городе и, с точки зрения топографии, находится в его центре. Однако структура чайна-тауна противоположна структуре административного или культурного центра города: это не источник власти или порядка, а пространство хаоса, которое не подчиняется внешнему управлению и существует по собственным законам: «Миллион китайцев, которые живут на площади в один квадратный километр. Огромный муравейник, где не то что спецоперацию сложно провести — даже просто передвигаться почти невозможно. К тому же Шанхай контролируется триадами» (Марціновіч, 2021, с. 40).

Минский чайна-таун можно описать, обратившись к понятию гетеротопии. М. Фуко отмечает, что гетеротопия «нередко выполняет некую функцию по отношению к остальному пространству» (Фуко, 2006, с. 203), и эта функция является компенсаторной: если остальное пространство чрезмерно упорядочено и контролируемо, то пространство гетеротопии хаотично и непредсказуемо, и наоборот. Следуя традиции жанра антиутопии, В. Мартинович характеризует Минск как пространство тотального контроля и слежки: магазины, метро, государственные здания оснащены камерами и сканерами. Кроме того, это пространство

<sup>2</sup> Здесь и далее используется перевод Л. Михеевой из электронной версии романа.



чрезмерно семиотизированное: внешний вид человека представляет собой знак и мгновенно считывается. Об этом свидетельствует привычка главного героя определять «тип личности» человека по манере одеваться. Однако это умение «не работает», когда он попадает в Варшавский чайна-таун и вступает в контакт с местным населением:

С китайцами вообще сложно. Никогда не разберешь, когда они понимают, а когда только делают вид, что понимают. И тем более никогда не допрешь, когда они тебя не понимают, а когда только делают вид, что не понимают. Этот выглядел так, как должен выглядеть бармен в китайском баре посреди чайна-тауна Варшавы в благословенный наш год четыре тысячи семьсот сорок первый (год Свиньи). А выглядел он совершенно невозмутимо. Одет в джинсы Big Star и поло Le Coq, хотя тип его личности более соответствовал Zara China. Верхняя пуговица на поло застегнута. Кстати, уже это должно было меня насторожить. Берегитесь людей в поло, застегнутых на все пуговицы (Марціновіч, 2021, с. 4).

Внешний вид бармена «посылает» герою противоречивые сигналы, что соответствует хаотическому характеру пространства, в котором он находится. Примечательно, что собственная внешность Сережи (как и имя) не соответствуют его ремеслу, в чем он и видит причину своей неуязвимости перед лицом Госнаркоконтроля:

Тип личности — Marks&Spencer с легким флером романтики Tommy Hilfiger. Стальные глаза. По-подростковому розовые щеки. То ли студент последних курсов, то ли молодой преподаватель. Может быть — начинающий пастор в храме Boss Hugo Boss. Может быть — продавец в бутике. Короче, ряд ассоциаций состоит исключительно из позитивных, привлекательных профессий, полезных для общества. Главное — не ухмыляться. Ухмылочка у меня, говорят, как у слишком умного человека. А это к голубым глазкам и розовым щечкам не идет.

— Вот что. С лица я похож на отличника! Я это знаю. Они это знают. На таможне они видят лицо порядочного, практически непьющего человека, который перебрал пива в вавской пивнухе — ну что ж, можно понять (Марціновіч, 2021, с. 5).

Таким образом, несоответствие между означающим и означаемым (внешностью и родом занятий, самовосприятием и восприятием со стороны других) выделяет героя из упорядоченного и контролируемого пространства Минска и позволяет «вписаться» в хаотическое пространство чайна-тауна.

Однако и чайна-таун выглядит неупорядоченным только с позиции внешнего наблюдателя. Внешний облик города в городе подобен лабиринту с бесконечно разветвляющимися путями и производит противоречивое впечатление:

Какая же в нем красота и извращенность одновременно, в этом конгломерате лишь бы как построенных из картона, металла, цемента и дерева зданий, загонов для скота, китайских храмов, офисов, вок-закусочных! Как спотыкается на нем тутэйший глаз, привыкший к ровным перекресткам, прямым углам, ясной структуре этажей и ровным улицам! Как прекрасно



он горит в ночи миллионами огоньков китайских фонариков, которые освещают дома и домишки, поставленные один на другой, будто в сказочном городе на дереве (Марціновіч, 2021, с. 85).

Причем, несмотря на явную диспропорцию между площадью города и плотностью населения, расширение по горизонтали невозможно, и он расширяется по вертикальной оси — как вверх, так и вниз. Тайное общество во главе с Цёткой является подпольным в прямом и переносном смысле, занимая в том числе и подвальные помещения одного из зданий старого Минска. Локализация этого общества в чайна-тауне, с одной стороны, вполне логична с точки зрения семиотической репрезентации пространства, ведь цели организации (возрождение национальной культуры) вступают в противоречие с целями и законами союзного государства, они являются деструктивными с позиции внешнего наблюдателя. С другой стороны, внутренняя структура общества имеет строгую иерархию, этикет, ритуалы. И это противоречие объясняется не только точкой зрения наблюдателя.

В основе пространственной организации романа лежит оппозиция *свое* — *чужое*. Эта оппозиция — одна из универсальных, она лежит в основе практически любого сверхтекстового образования, в том числе и городских текстов. Однако она играет особую роль в белорусской культуре, которая развивалась в тесном соприкосновении, а иногда и в конфликте с другими культурами — польской, русской, украинской. Включение белорусских земель в состав разных государств (Речи Посполитой, Российской империи) привело к тому, что белорусский язык, утративший статус государственного, воспринимался как «простой», «народный», «мужицкий». В предисловии к сборнику стихов «Дудка беларуская» (1891) Ф. Богусевич считает необходимым подчеркнуть, что «мова нашая ёсць такая ж людская і панская, як і французская, альбо нямецкая, альбо іншая якая» (Багушэвіч, 1967, с. 16). Для «легитимизации» статуса белорусского языка поэт прибегает к соединению народной устной традиции и литературной топики, убеждая читателей, что на народном языке, использовавшемся преимущественно в устном общении, можно и нужно писать стихи.

Аналогичными авторскими стратегиями характеризуется весь период национального возрождения в белорусской культуре на рубеже XIX—XX веков. Происходит не только уравнивание элементов оппозиции *свое* — *чужое* (*свое* не хуже *чужого*), но и их столкновение: выбор в пользу *чужого* рассматривается как предательство *своего*.

Обозначенный выше национальный контекст объясняет функции интертекстуального слоя романа. Глава тайного общества — братства с двусмысленным названием «Светлый путь» (герой отмечает советские ассоциации с ним: «как название колхоза» (Марціновіч, 2021, с. 95)) — неслучайно носит псевдоним Цётки, именно ее слова становятся своего рода интертекстуальным ядром романа, они транслируются по телевидению во время захвата телецентра представителями этого общества:



«Што можа быць даражэй сэрцу чалавека, як у сталых гадах пачуць цябе, роднае слова, у чужой старане? Здаецца, быццам з далёкай чужыны пераносіш ты нас у родны край — родну вёску, дзе мы ўзраслі, дзе першыя думкі складалі, дзе гора і радасць першы раз спазналі...»

Даже тут, в боевой обстановке, я был очень впечатлен тем, как сильно звучат эти слова.

«Чаму ж, роднае слова, гэтак часта забываюць цябе людзі — нават тут, між сваімі? Чаму сыны нашага народа так лёгка адракаюцца ад матчынай гутаркі? Кажуць: бо цёмны нашы беларусы. Але гэта няпраўда: забываюць родную мову, адракаюцца бацькоў і братоў сваіх найбольш тыя, хто дайшоў навук, выйшаў у людзі. Яны няцёмны: яны пераймаюць чужое — дзеля карысці»<sup>3</sup> (Марціновіч, 2021, с. 246).

В основе процитированного фрагмента, оказавшего такое сильное впечатление на бойца, лежит оппозиция *свое* — *чужое*. Белорусская культура долгое время функционировала в обстоятельствах, когда «чужое» воспринималось как более престижное, связанное с наукой, образованием, а «свое» ассоциировалось с невежеством, простотой, бедностью. В этой ситуации возникает искушение отказаться от «своего», соблазн «присвоения» чужой культуры. По-настоящему образованные, просвещенные люди, по мнению Цётки, выступают проводниками противоположной точки зрения, их задача — утверждение ценности родного языка и культуры. Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: общепринятое распределение оценок в оппозиции *свое* — *чужое*, когда «свое» обладает более высокой ценностью, в белорусской культуре усложняется. С точки зрения «бытовой», обыденного сознания, «чужое» оценивается положительно, «свое» — отрицательно. Именно такая ситуация заставляет белорусскую национально-ориентированную интеллигенцию настойчиво возвращаться к мысли, которая с позиции внешнего наблюдателя кажется совершенно очевидной: подчеркивать значимость и важность «своего».

Это отступление позволяет проанализировать пространственную структуру Минска в романе В. Мартиновича. «Мова» как опасный наркотик, с точки зрения жителей города, как это ни парадоксально, является репрезентантом отчуждаемого «своего». Это нечто табуированное, не зафиксированное письменно (несмотря на то что наркотик представляет собой написанные тексты, они сразу после употребления уничтожаются) — точно так же, как и белорусский язык, на протяжении XIX столетия функционировавший преимущественно в устной

---

<sup>3</sup> «Что может быть дороже сердцу человека, чем в зрелые годы услышать тебя, родное слово, в чужой стране? Кажется, будто из далекой чужбины переносишь ты нас в родной край — родную деревню, где мы выросли, где первые мысли слагали, где горе и радость в первый раз познали». «Почему же, родное слово, так часто забывают тебя люди — даже здесь, меж своими? Почему сыновья нашего народа так легко отрекаются от материнской речи? Говорят: потому что темные наши беларусы. Но это неправда: забывают родной язык, отрекаются от отцов и братьев своих больше всего те, кто прошли науки, вышли в люди. Они не темные: они перенимают чужое — для корысти» (перевод мой. — О.Г.).



сфере, не был кодифицирован. Жителям Минска («упорядоченной» периферии) внушают, что «мову» употребляют «деклассированные» группы общества, утрачивающие таким образом свой социальный статус, то есть «свое» связано с чем-то общественно порицаемым, непрестижным. Продавцы «мовы» и представители национальных движений локализуются в чайна-тауне — «хаотическом», неупорядоченном центре города. Однако «изнутри» чайна-таун обладает внутренней организованностью и порядком. Это можно объяснить, если понимать город и язык как развернутую метафору, один компонент которой интерпретирует другой. С одной стороны, язык представляет собой упорядоченную систему, построенную по принципу изоморфизма, с другой — в этой системе есть явления, необъяснимые с точки зрения синхронии (исключения, исторический принцип в правописании и т.д.). Эти исключения для человека, который не является носителем языка, создают впечатление хаотичности, отсутствия логики. Чайна-таун выглядит хаотическим именно с позиции «неносителя языка», «чужого» сознания. «Мова» воздействует только на «тутэйшых», не разговаривающих на белорусском языке, а тот, кто говорит на нем с детства, не испытывает наркотического эффекта.

Не менее значимо рассмотрение пространственной структуры романа в культурологическом аспекте. Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский выделяют бинарные и тернарные модели в развитии культуры и характеризуют русскую культуру до XVIII века как развивающуюся по бинарным моделям. Белорусская культура, испытывавшая влияние европейской культурной традиции (уместно вспомнить, что, к примеру, Симеон Полоцкий как представитель «высокого» барокко в русской литературе XVII века был белорусом по происхождению), восприняла тернарные культурные модели в своеобразном — трансформированном — виде. Если в русской средневековой культуре, как отмечают Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский, «основные культурные ценности (идеологические, политические, религиозные)... располагаются в двухполюсном ценностном поле, разделенном резкой чертой и лишенном нейтральной аксиологической зоны» (Лотман, Успенский, 1996, с. 339), то в белорусской культуре, которая развивается на пересечении других культур, в исторической перспективе образуется нейтральное аксиологическое пространство с соответствующими стратегиями поведения. Формируется даже культурный миф о толерантности белорусов, их приспособляемости к любым условиям, способности сохранять нейтралитет (Николюк, 2015). Этот миф используется в создании государственной идеологии, а в белорусском языке для обозначения этой составляющей культурного мифа есть особое слово — «памяркоўнасць».

Эти культурологические модели отражаются в структуре романного пространства. Дуальную модель иллюстрирует собой «упорядоченная» периферия Минска, оснащенная камерами и сканерами, где поведение человека строго регламентировано. Это же отражается и в языке: добропорядочные граждане стараются говорить на чистом русском языке, воплощающем языковую и поведенческую норму, любые белорусскоязычные вкрапления вызывают подозрение. Тернарная модель представлена в структуре чайна-тауна, где происходит взаимодействие



разных культур и вырабатываются общие для всех нормы общежития и поведенческие практики. Тексты на «мове», появляющиеся в романе, подтверждают эту мысль: главный артефакт, которым хотят завладеть противоборствующие силы, — это перевод сонетов Шекспира, выполненный белорусским поэтом Владимиром Дубовкой. Само обращение к переводу как практике медиации свидетельствует о тернарной структуре этой пространственно-языковой модели. Кроме того, «административные единицы» в чайна-гауне называются «триадами», они распределяют между собой власть в городе на основе договоренности.

Во главе триады «Светлый путь» стоит женщина, которая выступает не за открытую конфронтацию и борьбу за свои идеалы, а за созидательный путь постепенного накопления знаний и реконструкции утраченных культурных ценностей. Насильственный акт захвата телецентра приводит к разрушительным для триады последствиям: многие ее члены погибают, а «мова» уничтожается в ходе спецоперации Госнаркоконтроля. В итоге основанное на дуальной модели противопоставление «своих» и «чужих» и их открытое противостояние приводят к катастрофе.

Таким образом, в романе В. Мартиновича «Мова» городское пространство Минска является репрезентантом языкового пространства. В основе пространственной организации романа лежит принцип изоморфизма части и целого. На разных уровнях текста прослеживается ценностная или логическая инверсия в системе оппозиций. Топографический центр города становится его символической периферией, имеет внешне неупорядоченную структуру, и, наоборот, периферия берет на себя нормирующие функции центра. Внутри города образуется еще один город, который обладает автономностью и живет по собственным законам. Усложняется распределение оценок в оппозиции *свое* — *чужое* в зависимости от точки зрения. Город в городе (центр) приобретает тернарную структуру, в отличие от построенной по бинарной модели периферии города, что иллюстрируется в прагматике использования языка: русский язык — нормирующая система, белорусский — язык-посредник, выполняющий функцию медиации.

### Список литературы

Багушэвіч Ф. Творы. Мінск, 1967.

Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б.А. Избр. труды. М., 1996. Т. 1 : Семиотика истории. Семиотика культуры. С. 338 — 380.

Марціновіч В. Мова. Мінск, 2021.

Николок С. Толерантность белорусов: миф и реальность // Belarus Security Blog. 2015. URL: <https://bsblog.info/tolerantnost-belarusov-mif-i-realnost/> (дата обращения: 02.02.2022).

Свечникова Е. В. Парадокс антиутопии // Человек. Культура. Общество : тез. докл. I Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов. Минск, 21 — 22 мая 2004 г. Минск, 2004. С. 75 — 78.

Смирнов А. Ю. Антиутопический дискурс в белорусской литературе XX — начала XXI вв. // Русская и белорусская литературы на рубеже XX — XXI вв. : сб. науч. ст. : в 2 ч. Минск, 2010. Ч.1. URL: <https://studylib.ru/doc/3974780/smironov-a.-yu.-antiutopicheskij-diskurs-v-belorussoj> (дата обращения: 10.02.2022).



Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003.

Усовская Э. А. Идентичность сообществ города (на примере Минска) // Urbis et Orbis. Микростория и семиотика города. 2021. №1. С. 106–118. doi: <https://doi.org/10.34680/urbis-2021-1-106-118>.

Фуко М. Интеллектуалы и власть. М., 2006. Ч. 3.

### Об авторе

Ольга Артуровна Гриневич, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русской филологии, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Беларусь.

E-mail: [olga.grinevich.1994@mail.ru](mailto:olga.grinevich.1994@mail.ru)

ORCID ID: 0000-0003-3831-805X

### Для цитирования:

Гриневич О. А. Семиотическая репрезентация Минска в романе В. Мартиновича «Мова» // Слово.ру: балтийский акцент. 2023. Т. 14, №1. С. 54–65. doi: [10.5922/2225-5346-2023-1-3](https://doi.org/10.5922/2225-5346-2023-1-3).



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

## SEMIOTIC REPRESENTATION OF MINSK IN VIKTOR MARTINOVICH'S NOVEL "MOVA"

O. A. Grinevich

Yanka Kupala State University of Grodno

22 Ozheshko St., Grodno, Belarus

Submitted on April 13, 2022

Accepted on November 15, 2022

doi: [10.5922/2225-5346-2023-1-3](https://doi.org/10.5922/2225-5346-2023-1-3)

*The article aims to reveal the principles of urban space organisation in Viktor Martinovich's novel "Mova". Due to the fact that the novel is based on a linguistic problem (the author defines the genre of the novel as a "linguistic thriller"), the representation of the city in the novel is subject to linguistic models and principles. The main of these principles is the isomorphism of the part and the whole. The structural generality of the different levels of the novel and the novel space is based on the technique of inversion. There is a movement of value poles within the system of oppositions, at the level of narrative, plot and space (the aggressor – the victim, the East – the West, the centre – the periphery, one's own – someone else's). The generally accepted structure of the zones of the centre and the periphery is changing: the periphery is associated with order and norm, and the centre – with the concepts of chaos, disorganization, and deviation. The opposition of one's own and someone else's (language, space) comes to the fore, which corresponds to the socio-cultural context of Belarusian literature. The centre and the periphery are structured according to different cultural models: the centre is organized according to the dual model, and the periphery according to the ternary one.*

**Keywords:** Victor Martinovich, urban text, centre, periphery, system of oppositions, dual model, ternary model





## References

- Bagushevich, F., 1967. *Tvory* [Works]. Minsk (in Bel.).
- Foucault, M., 2006. *Intellektualy i vlast'* [Intellectuals and power], Vol. 3. Moscow (in Russ.).
- Lotman, Yu.M. and Uspenskii B. The role of dual models in the dynamics of Russian culture (until the end of the 18th century). *Ruthenia*. Available at: <http://www.ruthenia.ru/document/537293.html> [Accessed 1 February 2022] (in Russ.).
- Martsinovich, V., 2021. *Mova* [Language]. Minsk (in Bel.).
- Nikoliuk, S., 2015. Tolerance of Belarusians: myth and reality. *Belarus Security Blog*. Available at: <https://bsblog.info/tolerantnost-belarusov-mif-i-realnost/> [Accessed 1 February 2022] (in Russ.).
- Smirnov, A. Yu., 2010. Anti-Utopian Discourse in Belarusian Literature of the 20th – Early 21st Centuries. In: *Russkaya i belorusskaya literaturny na rubezhe XX–XXI vv.: sbornik nauchnykh statei* [Russian and Belarusian Literature at the Turn of the 20th – 21st Centuries: Collection of Scientific Articles]. Vol. 1. Minsk. Available at: <https://studylib.ru/doc/3974780/smironov-a.-yu.-antiutopicheskij-diskurs-v-belorussoj> [Accessed 10 February 2022] (in Russ.).
- Svechnikova, E.V., 2004. The paradox of dystopia. In: *Chelovek. Kul'tura. Obshchestvo: Tezisy dokladov I Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii studentov i aspirantov* [Human. Culture. Society: Abstracts of the I International Scientific Conference of Students and Postgraduates]. Minsk, pp. 75–78 (in Russ.).
- Toporov, V.N., 2003. *Peterburgskii tekst russkoi literaturny* [The Petersburg text of Russian literature]. St. Petersburg (in Russ.).
- Usovskaya, E.A., 2021. Identity of the city's communities (the case of Minsk). *Urbis et Orbis. Microhistory and Semiotics of the City*, 1, pp. 106–118, <https://doi.org/10.34680/urbis-2021-1-106-118> (in Russ.).

## The author

Dr Olga A. Grinevich, Senior Lecturer, Chair of Russian Philology, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus.

E-mail: [olga.grinevich.1994@mail.ru](mailto:olga.grinevich.1994@mail.ru)

ORCID ID: 0000-0003-3831-805X

### To cite this article:

Grinevich, O.A., 2023, Semiotic representation of Minsk in Viktor Martinovich's novel "Mova", *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 14, no. 1, p. 54–65. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-3.



**ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ ГОРОДОВ  
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

**З. Х.-М. Ионов**

Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований  
Россия, 369000, Черкесск, ул. Горького, 1а  
Поступила в редакцию 05.09.2022 г.  
Принята к публикации 15.11.2022 г.  
doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-4

*Статья посвящена экстралингвистическим факторам, способствующим переименованию городов в одном из северокавказских регионов России. Изучение топонимии, в частности ойконимов определенной территории, имеет большое значение для исследования истории, этнографии, культуры проживающего на ней народа. Цель статьи состоит в выявлении исконных названий поселений и изучении новых наименований городов, что будет способствовать исследованию социально-исторических процессов и лексико-семантических трансформаций в языке жителей данных поселений. Особенно это актуально для восстановления истории таких новописьменных языков, как адыгские (черкесские) языки, которое затруднено в условиях отсутствия письменных памятников. Результаты исследования показывают, что города на территории Карачаево-Черкесии в меньшей степени защищены от переименований по идеологическим и политическим причинам, нежели сельские поселения.*

**Ключевые слова:** ойконимы, астионимы, адыгские языки, кабардино-черкесский язык, топонимика, история языка

Особенностью ойконимов, реконструируемых на территории исторической Черкесии и сохранившихся в народной памяти современных черкесов, является то, что они представляют собой патронимы, образованные от имен или фамилий бывших владельцев данных поселений. Исторической Черкесией мы называем территории современных Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края, а также частично Ставропольского края (южная часть). Наше внимание сосредоточено на астионимах, представленных на территории современной Карачаево-Черкесской Республики, сменявших друг друга дважды, а то и трижды в результате различных политических, идеологических и иных процессов.

Начиная с конца XVIII века поселения «волнами» переселялись с территории нынешней Кабардино-Балкарии и Пятигорья и, прежде чем осесть окончательно, несколько раз меняли дислокацию. По свидетельству Султана Хан-Гирея, активные военные действия в Кабарде и военно-административные мероприятия царской администрации вынудили не менее 62 кабардинских владельцев вместе со своими аулами



переселиться из Кабарды на левобережье Кубани к западным черкесам, еще находившимся под геополитическим и экономическим влиянием турков (Хан-Гирей, 1978, с. 169–170).

После окончания Кавказской войны царское правительство приступило к административному устройству завоеванных территорий, в результате чего из одной местности в другую было перемещено множество населенных пунктов с черкесским населением и образовано много новых наименований. Этот процесс сопровождался ликвидацией прежних топонимов и заменой их новыми по многим причинам, чаще всего идеологическим, политическим, социальным. В рассматриваемом нами случае данный процесс носил политический характер и был вызван, как правильно отметил Е.М. Поспелов, стремлением ликвидировать существующее название, связанное с именами или понятиями прошлого, которое стало неприемлемым в изменившихся условиях, и желанием ввести новое название в целях отражения идей, имен и понятий новой власти, нового строя (Поспелов, 2001, с. 3–5).

Тем не менее вплоть до 1920-х годов большинство поселений сохраняло свои патронимические названия, представлявшие собой явные примеры топонимов-мигрантов. Они образуются в силу стремления сохранить память о метрополии на новом месте жительства. Иначе обстоит дело с названиями вновь образованных поселений. Эти названия даются по разнообразным, порой самым неожиданным, причинам. Рассмотрим для примера два астионима, представленные на карте Карачаево-Черкесской Республики.

Современный город Черкесск основан на месте редута, сооруженного для отражения нападения турецкой армии под предводительством военачальника Батал-паши в 1790 году и получившего впоследствии название «Баталпашинский редут». После победы 4-тысячного русского войска под командованием генерал-майора И. И. Германа над 25-тысячной турецкой армией на этом месте в 1825 году была образована станица Баталпашинская. Таким образом, название «Баталпашинская» представляет собой редкий случай наименования населенного пункта в честь побежденного, а не победителя: «Впоследствии близ места этой славной битвы была основана станица Хоперского казачьего полка, которая в честь ее и названа Баталпашинской. Зиссерман в своей “Истории Кабардинского полка” справедливо замечает, что станицу следовало бы назвать не Баталпашинской, а Германской, по имени победителя, а не побежденного» (Потто, 2014, с. 103). До сих пор исторической науке не удалось установить, кому принадлежала инициатива именования данного поселения в память о побежденном турецком сержанте — несправедливое решение, если учесть, что исход этого сражения имел большое значение для дальнейшего укрепления позиций России на Кавказе: поражение Батал-паши, шедшего с огромным войском от Анапы до Дагестана, сорвало планы Османской империи по объединению кавказских народов от западных черкесов до восточных черкесов (кабардинцев) и народов Дагестана для борьбы против России. Более того, именно после поражения Батал-паши стало возможным взятие русской армией крепости Анапа, оплота турецкого влияния на



Кавказе. Об этом пишет Н. Ф. Дубровин: «Таким образом, одним ударом были уничтожены двухлетние приготовления турок. «Слава Богу, доносил кн. Потемкин-Таврический, даровавшему презнаменитую победу, о коей чем более рассуждается, тем она важнее становится. Разбита армия турецкая в сорока тысячах состоящая и с множеством присоединившихся закубанцев. Исчезла надежда, которою они ласкались в том краю, усмирились народы, ими взбунтованные, и хитрый план операций, от враждующих держав им данный, исчез как дым...» (Дубровин, 2019, с. 273). Там же, в примечании, автор добавляет: «Батал-паша провел в плену девять лет. Он долго жил в Крыму и выехал оттуда только в 1799 году, когда Турция вверила ему начальство в Анатолии. Он довольно чисто говорил по-русски и оставил Россию с сожалением».

Показавшееся слишком длинным название «Баталпашинское» русскоязычные жители в обиходной речи сократили и стали называть станицу «Пашинка». В черкесской речи название станицы звучало тоже в сокращенном варианте, но как «ПашнискIэ» в соответствии с особенностями фонетики черкесского языка: заднеязычный глухой звук [к] русского языка в заимствованных словах в черкесском языке переходит в смычно-щелевой переднеязычный зубной абруптивный звук [кI] (например: костюм — кIэстум).

В 1931 году населенному пункту был присвоен статус города с сохранением названия Баталпашинск. В 1934 году он был переименован в Сулимов в честь председателя Совнаркома РСФСР Д. Е. Сулимова. В 1937 году, когда Сулимов был арестован и расстрелян, город переименовали в Ежово-Черкесск в честь наркома внутренних дел Н. И. Ежова. Однако в народе вместо двойного названия более употребительными были названия Ежов или Черкесск. В 1939 году, после ареста наркома, населенный пункт переименован в Черкесск, по этнониму составлявшего на то время основного населения.

Хотя череда переименований города стерла с карты название Баталпашинск, имя турецкого паши не исчезло бесследно: отдел Кубанского казачьего войска в Карачаево-Черкесии называется «Баталпашинским». Кроме этого, некоторые мероприятия, посвященные истории, культуре казачества, называются так же. Например, в октябре 2022 года в Черкесске прошла научно-практическая конференция «Баталпашинские чтения», приуроченная к «празднованию 100-летия образования Карачаево-Черкесии, 190-летию образования Кавказского линейного казачьего войска, 130-летию образования 6-го Кубанского пластунского батальона и к 100-летию кампании по конфискации церковных ценностей»<sup>1</sup>.

Второй город по значимости в экономическом и политическом плане — современный Карачаевск, расположенный в месте слияния трех рек — Теберды, Кубани и правого притока последней — Мары. В результате разделения Карачаево-Черкесской автономной области в ап-

---

<sup>1</sup> В Карачаево-Черкесии открылись «Баталпашинские чтения-2022». URL: <https://cherkesk.bezformata.com/listnews/cherkesii-otkrilis-batalpashinskie/109997122/> (дата обращения: 27.10.2022).



реле 1926 года была создана отдельная Карачаевская автономная область, и новый город закладывался как ее областной центр. Строительство города с первоначальным названием Каменноостек было инициировано председателем исполкома облсовета еще единой Карачаево-Черкесской автономной области Курманом Курджиевым, возглавлявшим облисполком в 1922–1926 годах. Инициатива была поддержана Анастасом Микояном, первым секретарем комитета ВКП(б) Северо-Кавказского края, в состав которого входила Карачаево-Черкесская АО. В благодарность за эту поддержку 17 июля 1927 года вторая сессия Карачаевского областного Совета депутатов трудящихся вновь образованной Карачаевской автономной области постановила дать новому городу название Микоян-Шахар и выступила с соответствующим ходатайством в адрес административной комиссии ВЦИК. Ходатайство удовлетворили — постановлением ВЦИК от 26 августа 1929 года было утверждено название Микоян-Шахар с присвоением населенному пункту статуса города.

В октябре 1943 года Карачаевская АО была ликвидирована, а в начале ноября была осуществлена депортация карачаевцев в Казахстан и Киргизию. После этого Микоян-Шахар был переименован в Клухори, а территория бывшей Карачаевской АО была включена в состав Грузинской ССР на правах района (О ликвидации...). В составе Клухорского района город находился в Грузинской ССР до 14 марта 1955 года, когда указом Президиума ВС СССР Клухорский район был передан в состав Ставропольского края РСФСР (Сборник законов, 1956, с. 56).

Двенадцатого января 1957 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Клухори был переименован в Карачаевск в связи с возвращением исконного карачаевского населения на родину и одновременным восстановлением Карачаево-Черкесской автономной области (О преобразовании...).

Таким образом, краткая история наименований и переименований двух городов показывает, что номинация населенных пунктов чаще всего лежит в экстралингвистической плоскости. Следует отметить, что на территории Карачаево-Черкесии менее «защищенными» от переименования являются города, нежели сельские поселения. Подтверждением данного положения служит тот факт, что 16 черкесских аулов на территории Карачаево-Черкесии переименованы всего по одному разу по идеологическим причинам (установка органов советской власти на отказ от патронимических названий), тогда как город Черкесск переименован четыре раза, а город Карачаевск — три раза.

### Список литературы

Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. М., 2019. Т. 2.

О ликвидации Карачаевской автономной области и об административном устройстве ее территории : указ Президиума ВС СССР от 12 октября 1943 г. URL: [http://www.libussr.ru/doc\\_ussr/ussr\\_4462.htm](http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4462.htm) (дата обращения: 27.10.2022).

О преобразовании Черкесской автономной области в Карачаево-Черкесскую автономную область : указ Президиума ВС СССР от 9 января 1957 г. URL: [http://www.libussr.ru/doc\\_ussr/ussr\\_5161.htm](http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5161.htm) (дата обращения: 27.10.2022).



Поспелов Е.М. Географические названия мира : топонимический словарь. М., 2001.

Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. М., 2014. Т. 1 : От древнейших времен до Ермолова.

Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г. / под ред. Ю.И. Манделъштама. М., 1956.

Хан-Гирей С. Записки о Черкесии. Нальчик, 1978.

### Об авторе

Зауаль Хаджи-Муратович Ионов, кандидат филологических наук, профессор, старший научный сотрудник отдела языков народов КЧР Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при Правительстве КЧР, Черкесск, Россия; профессор, Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева, Карачаевск, Россия.

E-mail: zaual@mail.ru

ORCID ID: 0000-0002-7075-3978

### Для цитирования:

Ионов З.Х.-М. Экстралингвистические факторы переименований городов в Карачаево-Черкесской Республике // Слово.ру: балтийский акцент. 2023. Т. 14, №1. С. 66–71. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-4.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

## EXTRALINGUISTIC FACTORS OF CITY RENAMING IN THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC

Z. Kh.-M. Ionov

Karachay-Cherkess Institute for Humanitarian Research, Russia

1a Gorky St., Cherkessk, 369000, Russia

Submitted on September 05, 2022

Accepted on November 15, 2022

doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-4

*The article is devoted to extralinguistic factors that contribute to the renaming of cities in one of the North Caucasian regions of Russia. The study of toponymy, in particular, the oikonyms of a certain territory, is of great importance for the study of the history, ethnography, and culture of the people living in this territory. The purpose of this work is to identify the original names of settlements and study new names of cities, which will contribute to a more fruitful study of socio-historical processes and lexical-semantic transformations in the language of the inhabitants of these settlements. This is especially true for studying the history of such new-written languages as the Adyghe (Circassian) languages, in the absence of written monuments (Adygs – endonym, Circassians – exonym). The results of the study have led to the conclusion that cities in the Karachay-Cherkess Republic are the least protected from renaming for ideological and political reasons, rather than rural settlements.*

**Keywords:** oikonyms, astionims, Adyghe languages, Kabardino-Circassian language, toponymy, history of the language



## References

Dubrovin, N.F., 2019. *Istoriya voiny i vladychestva russkikh na Kavkaze* [History of war and domination of Russians in the Caucasus], Vol. II. Moscow (in Russ.).

Khan-Giray, S., 1978. *Zapiski o Cherkessii* [Notes on Circassia]. Nalchik (in Russ.).

Mandel'shtam, Yu.I., ed., 1956. *Sbornik zakonov SSSR i ukazov Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR. 1938 g. – iyul' 1956 g.* [Collection of laws of the USSR and decrees of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR. 1938 – July 1956]. Moscow (in Russ.).

*O likvidatsii Karachaevskoi avtonomnoi oblasti i ob administrativnom ustroistve ee territorii: ukaz Prezidiuma VS SSSR ot 12 oktyabrya 1943 g.* [On the liquidation of the Karachay Autonomous Region and on the administrative structure of its territory: Decree of the Presidium of the USSR Armed Forces of October 12, 1943]. Available at: [http://www.libussr.ru/doc\\_ussr/ussr\\_4462.htm](http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4462.htm) [Accessed 27 October 2022] (in Russ.).

*O preobrazovanii Cherkesskoi avtonomnoi oblasti v Karachaevo-Cherkesskuyu avtonomnuyu oblast': ukaz Prezidiuma VS SSSR ot 9 yanvaryaya 1957 g.* [On the transformation of the Cherkess Autonomous Region into the Karachay-Cherkess Autonomous Region: Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR dated January 9, 1957]. Available at: [http://www.libussr.ru/doc\\_ussr/ussr\\_5161.htm](http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5161.htm) [Accessed 27 October 2022] (in Russ.).

Pospelov, E.M., 2001. *Geograficheskie nazvaniya mira: Toponimicheskii slovar'* [Geographical names of the world: Toponymic dictionary]. Moscow (in Russ.).

Potto, V.A., 2014. *Kavkazskaya voina v otdel'nykh ocherkakh, epizodakh, legendakh i biografyakh. Tom 1. Ot dreoneishikh vremen do Ermolova* [Caucasian war in separate essays, episodes, legends and biographies. Vol. 1. From ancient times to Yermolov]. Moscow (in Russ.).

## The author

*Dr Zaua Kh.-M. Ionov*, Professor, Senior Researcher, the Department of Languages of the Peoples of the KChR, Karachay-Cherkess Institute for Humanitarian Studies under the Government of the KChR, Cherkessk, Russia; Professor, the Department of Circassian and Abaza Philology, Aliev Karachay-Cherkess State University, Karachaevsk, Russia.

E-mail: [zaua@mail.ru](mailto:zaua@mail.ru)

ORCID ID: 0000-0002-7075-3978

### To cite this article:

Ionov, Z. Kh.-M., 2023, Extralinguistic factors of city renaming in the Karachay-Cherkess Republic, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 14, no. 1, p. 66–71. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-4.



# СЛОВА, СМЫСЛЫ, ДЕЙСТВИЯ: ПРАГМАСЕМАНТИКА И СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ

---

УДК 81'33

## «ПАРАДНУЮ ОНИ НАЗЫВАЮТ ПОДЪЕЗД»: СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В СЕМАНТИКЕ И МЕТАПРАГМАТИКЕ

*В. Е. Чернявская*

Балтийский федеральный университет им. И. Канта  
Россия, 236016, Калининград, ул. Александра Невского, 14

Поступила в редакцию 07.07.2022 г.

Принята к публикации 15.11.2022 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-5

*Анализируется понятие «социальное значение», которое концептуализировалось в лексической семантике с 1980-х годов и стало центральным в современных концепциях в социолингвистике и лингвистической антропологии для описания прагматических приращений в значении языковой единицы, которые она получает в контексте использования. Новые объяснительные подходы сложились в перспективе социолингвистики в теориях метапрагматики и показывают социальное значение как социальный индекс, возникающий в контексте использования знака. Социальный индекс (индексальное значение знака) отсылает к типизированным социальным ситуациям и типизированным социальным ролям участников коммуникативного акта. Социальное значение актуализируется тогда, когда оно может быть осмыслено в социальном взаимодействии как использованное для выражения определенных смыслов. Аналитический обзор представляет современный понятийный аппарат и инструментарий, позволяющий лингвисту описывать социальную перспективу в конструировании смыслов и интерпретации смыслопорождения в социальных контекстах. Эмпирический материал в рамках предлагаемого анализа отражает современную социокультурную и речевую практику: на примере лингвистической вариативности в использовании языковых единиц «парадная» и «подъезд» в русском языке показано, как языковой знак получает устойчивый индексальный характер и используется для выражения социальной атрибуции.*

**Ключевые слова:** социальное значение, социальный индекс, социолингвистика, метапрагматика

### Введение

Понятие «социальное значение» использовалось в семантике с 1980-х годов и стало центральным в современных концепциях в социолингвистике и лингвистической антропологии для описания тех приращений в значении языковой единицы, которые она получает в контексте использования. Контекстуальную вариативность и связанные с ней смыс-





лы изучают в той или иной перспективе различные исследовательские подходы: прагмалингвистика, социоллингвистика, интеракциональная лингвистика, критический анализ дискурса, лингвистика дискурса, и можно сказать, что все эти дисциплины продолжают и углубляют прагматическую перспективу в изучении языка. По-своему, с разных точек доступа развивается понимание того, что представляют собой коммуникативная ситуация и контекстуализация, влияющие на смыслопорождение. В статье далее критически анализируются теоретические подходы к изучению социального значения с позиции лексической семантики, с одной стороны, и новые объяснительные подходы, сложившиеся в метапрагматике и показывающие социальное значение как социальный индекс, — с другой. Социальное значение исследуется как социальный индекс, то есть индексальное значение, отсылающее к типизированным социальным ситуациям и типизированным социальным ролям участников коммуникативного акта. Такой сопоставительно-аналитический обзор значим в теоретико-методологической и прикладной проекции, поскольку представляет понятийный аппарат и инструментарий, позволяющие лингвисту описывать социальную перспективу в конструировании смыслов и интерпретации смыслопорождения в социальных контекстах. Эмпирический материал в рамках предлагаемого анализа отражает современную социокультурную и речевую практику. На примере лингвистической вариативности в русском языке при использовании языковых единиц «парадная» и «подъезд» показывается, как языковой знак получает устойчивый индексальный характер и применяется для выражения социальной атрибуции.

### Социальное значение в семантике

Социальное значение как особый аспект прагматического значения изучается в семантике и прагматике с 1980-х годов. Это исследовательское направление отражает сложившееся разграничение семантики и прагматики по линии разделения языкового (лексического) значения и значения, возникающего в контексте использования языковой единицы. Д. Лич предлагал рассматривать социальное значение (*social meaning*) как одно из значений языковой единицы, которое связано с иллокутивной силой высказывания (*the illocutionary force of an utterance*) и может быть соответствующим образом интерпретировано адресатом (Leech, 1981, p. 14–15). Фактически понимание того, что значит социальное значение, было изначально связано с перформативным эффектом и с коммуникативной реакцией адресата на задействованное средство.

Понятие «социальное значение» было детально разработано в семантике, для обзора см. работу С. Лёбнера (Löbner, 2002). Социальное значение рассматривается как одно из ключевых понятий (лексической) семантики, как часть лексического значения слова наряду с его денотативным (дескриптивным) значением. Слово или высказывание получает социальное значение, если его использование подчинено существующим правилам социального взаимодействия в коммуникации. Как определяет С. Лёбнер, социальное значение ограничено собствен-



но нормами формальной и неформальной коммуникации. Именно в такой привязке как соответствие формальной и неформальной коммуникации термин «социальное значение» применялся в семантике. В каждом языке существует набор языковых форм с отчетливым социальным значением: формы приветствия, прощания, извинения, разговора по телефону, иные этикетные и ритуализированные формулы социального взаимодействия и есть социальные правила, устанавливающие ситуативные обстоятельства, при которых использование языковой формы становится адекватным и понятным<sup>1</sup>. В этом смысле высказывания «Добрый день» и «Привет», «Подойдите ко мне, пожалуйста» и «Сюда иди» имеют однозначное социальное значение, связывающее уместность и адекватность их использования с формальной сферой, литературной нормой и неформальной, обиходно-разговорной сферой, соответственно. Социальное значение отражает социально значимые характеристики коммуникантов и характер их отношения друг к другу в процессе взаимодействия.

Понимаемое так социальное значение отличается от другого аспекта лексического значения, обозначаемого термином «экспрессивное значение» (*expressive meaning*). Это семантическая характеристика слова или высказывания, которая не зависит от контекста их использования, имеет ценностно и эмоционально ориентированный характер и выражает субъективное переживание радости, огорчения, сожаления и др. К экспрессивам традиционно относят междометия, эмоционально заряженные номинации, бранные слова и выражения и др.

Еще один тип значения в этом семантическом ряду описывается термином «коннотация» (*connotative meaning*). Коннотативное значение как часть лексического значения характеризует эмоционально-оценочный компонент, дополнительный к денотативному значению и устойчиво связанный с ним в сознании носителей языка. Коннотации могут создавать социально обусловленные смыслы, то есть такие дополнительные аспекты в значении, которые отражают общественную идеологию. Негативные коннотации традиционно относятся к сфере эвфемизации и того, что называется «политическая корректность», характеризующая определенные запреты в номинациях национальной, расовой принадлежности, социальному гендеру, физическим возможностям человека (Беляева, Чернявская, 2016; Чернявская, 2018; 2021а).

### **Социальное значение как социальный индекс: социолингвистическая перспектива**

Социальное значение стало центральным предметом также в социолингвистике с конца 1990-х годов, но получило иное, более глубокое и всестороннее теоретическое осмысление и методологическую разработку, нежели в прагматике и семантике. Социальное значение изуча-

---

<sup>1</sup> Ср. в оригинале: «An expression has social meaning if and only if its use is governed by the social rules of conduct or, more generally, rules for handling social interactions» (Löbner, 2002, p. 34).



ется как социальный индекс, то есть индексальное значение, отсылающее к типизированным социальным ситуациям и типизированным социальным ролям участников коммуникативного акта. Представления об индексальном характере социального значения сформулированы и детально разработаны в теории американского антрополога и семиотика М. Сильверстина (Silverstein, 1993; 2001; 2014). В последовавших за идеями Сильверстина американских и западноевропейских социолингвистических концепциях и в связанных с ними исследованиях лингвистической антропологии, дискурсивного анализа социальное значение предстает как гораздо более объемное по содержанию понятие по сравнению с предшествующими трактовками (Blommaert, 2005; Eckert, 2018; Eckert, Labov, 2017; Lucy, 1993; Verschueren, 2000), обзор см.: (Чернявская, 2020). Этот исследовательский фокус в целом является «выражением общей тенденции в лингвистике разворачивать анализ от чисто языковых аспектов коммуникации к ее контекстуальным характеристикам (it displays the tendency to move the analysis away from the linguistic aspects of communication to its contextual aspects)» (Blommaert, 2005, p. 12).

В рамках социолингвистики понятие социального значения включает в себя социально значимые эффекты от использования языка. «Социально значимые» следует понимать в проекции «язык в обществе», то есть в соотношении языковой вариативности с макро- и микросоциальными категориями, такими как гендер, возраст, национальность, профессиональный статус, принадлежность к малым социальным группам и языковым коллективам и т. д. На первый план выходит вопрос о том, как использование языка становится определяющим для идентификации человека в той или иной социальной роли. Социальная индексальность активно разрабатывается в связи с различными концепциями идентичности, как характерное основание в самовыражении личности и / или социальных групп. Детальный обзор современных разработок в социолингвистике и социальных теориях идентичности представлен в статье: (Молодыхченко, Чернявская, 2022).

Социальная индексальность увязана с лингвистической вариативностью, повторяя У. Лабова, с альтернативными способами выражения одного и того же («alternative ways of “saying the same thing”») (Labov, 1972, p. 322), когда есть выбор между альтернативными способами выражения одного содержания и одна лингвистическая форма в определенном контексте становится предпочтительнее и характернее, чем другая. Лингвистическая вариативность возможна на фонетическом, лексическом, грамматическом уровне языка. Индексальное социальное значение при этом указывает на конкретную социальную атрибуцию, такую как социальный класс, национальность, социальный пол, профессиональный статус и т. п., и на то, как социальные отношения между коммуникантами проявляют себя во взаимодействии. Таким образом, «социальное значение — это инструкция по интерпретации, связывающая то, что было сказано, и социальную ситуацию, в которой это было сказано» (ср.: «social meaning is “interpretive leads” between what is said and the social occasion in which it is being produced» (Blommaert,



2005, p. 11)). Индекс и индексальность используются как прагматические термины, содержательно более объемные и определяющие, что, собственно, мы можем назвать возможностью 'широкого обзора' контекста («wider pragmatic terms that encompass what we may term the wider "sign's-eye view" of the context») (Silverstein, 2014, p. 140).

Становятся очевидными различия между понятием «социальное значение» и «значение» в семантике, детальный обзор представлен в работах (Silverstein, 2014; Beltrama, 2020). Различие определяется, во-первых, характером связи знака и лингвистической формы. По Соссюру, отношения между означаемым и означающим носят произвольный и конвенциональный характер, принципиально значима договоренность между людьми по поводу обозначения того или иного объекта. В случае социального значения возникает индексальная связь между лингвистической формой и ситуацией ее использования. Это значит, она основана не на конвенции, но на характерном, регулярном совпадении лингвистической формы (знака) и контекста его использования. Так, в соответствии с утвердившимся определением знака-индекса дым указывает на присутствие огня, возгорания.

Аналогично явление, иллюстрирующее социальную индексальность в языке: фонетическая характеристика в русском языке, а именно произносительная норма литературного языка в звукосочетаниях «сч». Они произносятся как (/ш/), а сочетания букв «чн», «чт» произносятся как звуки (/шн/) и (/шт/) — *коне[шн]о*, *скворе[шн]я*, *наро[шн]о*. Это характерно для московского произношения, которое часто противопоставляется петербургскому / ленинградскому: *коне[чн]о*. Языковая форма становится характерной для определенной социальной группы: мы констатируем, что «так говорят москвичи». Индексальная связь такого рода является отправной точкой для возникновения социального значения как социального индекса.

Второе существенное отличие индекса от значения в семантике связано с (не)фиксированным характером отношения между значением и языковой формой. Единство означаемого и означающего в языковом знаке устойчиво, стабильно, поставлено в отношении с постоянной опосредованной сознанием человека связью. Семантическое значение организовано как лексикон, совокупность слов и словоформ. Оно стабильно, не подвержено гибкой изменчивости. Социальное значение (индекс) иное, оно контекстно обусловлено и зависит от социальной ситуации, в которую включено. Индексальная связь переосмысливается и опосредуется участниками коммуникации, их ценностными установками. М. Сильверстин предложил говорить об уровнях социальной индексальности (orders of indexicality), на которых можно проследивать связь языковой формы и ее социального значения. Со временем такая привязка может утрачивать отчетливый характер или, наоборот, становится стабильной, устойчивой, характерной. «Социальное значение проходит процесс кристаллизации в обществе» (Beltrama, 2020, p. 3). Об отличиях знаков-символов и знаков-индексов см. также: (Молодыхенко, 2022а, с. 70–71).



## Индексальность и метапрагматика

Социальное значение актуализируется тогда, когда оно может быть осмыслено и осмысливается в социальном взаимодействии как использованное для выражения определенных смыслов. Изучение социальной индексальности направлялось исследовательским вопросом о маркированности социального значения языковой единицы, о способности быть узнаваемым средством для слушающего / читающего в связи с определенным контекстом и социально значимыми характеристиками. В теории М. Сильверстина и в разработках, последовавших за ней, ключевое значение имеет понятие метаиндексального, или, по-другому, метапрагматического сигнала: индексальная связь языковой формы и «ее» контекста должна быть поддержана, чтобы интерпретация шла в правильном направлении. Например, высказывания 1б и 2б являются маркированными по сравнению с 1а и 2а:

1а. *Она плачет по любому поводу.* 2б. *Она по-любому позвонит.*

2а. *Заявка нуждается в обновлении.* 2б. *Работа нуждается в поновлении.*

Высказывание 2б просторечно, наречие «по-любому» используется как разговорное, в отличие от литературной нормы, допускающей только сочетание предлога и прилагательного; оно отсылает к неформальному стилю общения, характеризует образовательный статус коммуникантов. На письме задействуется дополнительный маркер различения — орфография. В примере 2б маркированным является глагол «поновлять» — это термин, появившийся в практике реставрационных работ, он используется профессионалами в значении «подновлять», «исправлять», «придавать обновленный вид». Существуют специальные этапы реставрационных работ: ремонт — консервация — поновление — реконструкция. Соответственно, «поновлять» приобретает индексальную функцию, указывает на профессиональный статус человека, использующего эту языковую единицу в общении.

М. Сильверстин, который ввел термин «метапрагматика», использовал его для расширения объема анализируемых лингвистом проявлений человеческой рефлексии над процессуальностью языка и коммуникации. По Сильверстину, знаки имеют метапрагматическую функцию, что означает их способность указывать на прагматические эффекты, порождаемые в процессе коммуникативного взаимодействия, ср.: «Signs functioning metapragmatically have an inherently framing character» (Silverstein, 1993, p. 33). Метапрагматический взгляд фиксирует рефлексю, которая происходит постоянно, непрерывно, переходя от одного объекта к другому, то есть всегда сопровождает нашу коммуникативно-речевую деятельность. Если прагматика задает отношение человека к денотативному значению знака и изучает те приращения к значению (смыслы), которые возникают в контексте, то метапрагматика прибавляет информацию о правилах и условиях использования знака и его контекстуализации.

Сигналы метапрагматической активности по-разному маркируются в структуре высказывания, выступают как эксплицитные и латентные



подсказки в контекстуализации (Silverstein, 2014, p. 140–146). Языковая форма или высказывание может «автономно» нести прямые эксплицитные индексальные отсылки к некоторым аспектам контекста. Таким прямым и самым очевидным индексом является дейксис, личные местоимения «я / мы / ты / вы», указательные местоимения типа «тот», «то». В процессе взаимодействия между коммуникантами вектор индексальности меняется, «я» и «вы» меняются местами, указывая на разные объекты, но индексальная функция знака в этом случае постоянна. Наряду с дейксисом, категории времени, залога также индексально укореняют сообщение в его контекстуальном измерении. В качестве метапрагматической подсказки типичны перформативные глаголы и глаголы, называющие речевое действие (*verba dicendi*): приказать, просить, обещать и т. п. Эксплицитным метапрагматическим сигналом являются разного рода лексические единицы, управляющие пониманием, то есть выражающие комментарий или пояснение, дающие направление интерпретации высказывания: «я имею в виду»; «сейчас я говорю с тобой как друг»; «это шутка» и т. п. Таким образом, речь идет о

рассмотрении речевой составляющей коммуникативного события под специфическим углом зрения... — что «делает» коммуникант, используя дискурс (или определенный сегмент дискурса), и / или что «происходит» в данной социальной / коммуникативной ситуации в плане реализации социальных отношений между коммуникантами. Упрощенная формула «делает/происходит» из предыдущего предложения может отсылать к широкому списку типов социальной активности и переменных социального контекста. Например, описание по линии «что сейчас делает коммуникант» может включать такие разнообразные метапрагматические характеристики, как «сообщает», «приказывает», «спрашивает», «оскорбляет», «шутит», «рассказывает анекдот», «говорит серьезно», «иронизирует», «подтрунивает», «издевается» и бесчисленное множество других *ярлыков*, рутинно и окказионально используемых как языковым сообществом, так и исследователями (Молодыхенко, 2022а, с. 70).

Есть речевые жанры (типы дискурсов), в которых метакомментарий собственно показывает специфику самой коммуникации, например в дидактическом дискурсе в ситуации общения учитель — ученик: «Правильно», «Это не относится к теме» и т. п. Интересным объектом изучения становятся «метапрагматические дискурсы», то есть дискурсы, рефлексивные прагматику внешних по отношению к ним дискурсов» (Молодыхенко, 2022а), см. также: (Молодыхенко, 2020; 2021; 2022б). Метапрагматическим маркером является использование форм косвенной речи и цитат. Аллюзии, говорящие имена, ключевые слова также делают видимым метапрагматическое действие (подробнее см.: (Чернявская, 2021б, с. 97–107)).

Именно на уровне метапрагматики можно говорить о разной мере осознанности и рациональности субъектов при выборе языковых единиц, и, следовательно, можно наблюдать и анализировать степень осознанности метаязыковой и метапрагматической деятельности в коммуникации. Разделение по линии «интуитивное / осознанное» — ключе-



вое для исследовательских подходов в метапрагматике. Е. Н. Молодыченко использует в этой связи термин «метапрагматическая осведомленность» (Молодыченко, 2022а, с. 72), ориентируясь на объяснительные концепции и терминологию в американских разработках в социолингвистике, лингвистической антропологии (ср.: *degree of salience* (Mertz, Yovel, 2009), *metapragmatic awareness* (Verschueren, 2000, p. 445)). С опорой на понятие метапрагматической осведомленности можно наблюдать и анализировать типизацию определенных аспектов языка, типичные действия с языковыми средствами в том или ином языковом сообществе. Типизация может быть определена в терминах «заякоренности» языковых явлений или «метапрагматического ярлыка» (Молодыченко, 2022а, с. 72–74) для обозначения типизированных речевых действий в языковом коллективе, характерных в проекции социальной идентичности.

### Материал и обсуждение

«Давайте говорить как петербуржцы!» Под таким лозунгом в 2011–2018 годах в Санкт-Петербурге проходила социальная кампания, рассказывавшая о правилах и ошибках в русской речи, инициированная ректором, позже президентом Санкт-Петербургского университета Л. А. Вербицкой. Обращенность к петербуржцу, к петербургской культуре фокусирует здесь среди прочего ту типизированность действий с языком, по которой можно опознавать определенную социальную группу. Действительно, есть заметные и характерные ярлыки, своего рода речевые пароли, отличающие петербуржцев и маркирующие их характерную идентичность. В предлагаемом анализе обратим внимание на то, как языковой знак задействуется в роли социального индекса, то есть используется как устойчивый и распознаваемый в социальном взаимодействии индекс, актуализирующий смыслы, значимые для социальной атрибуции.

Следующий фрагмент заимствован из телевизионного репортажа «Новостройки вокруг Петербурга: как там жить?», вышедшего 19 ноября 2021 года на телеканале «Санкт-Петербург» в еженедельной информационно-публицистической программе «Пульс города».

«Человейники», каменные джунгли и социальные гетто — все что угодно, но только **не Петербург!** Недорогое жилье для молодых семей, приют для **ипотечника** и **переселенцев из других городов**.

Удивительно, но мы встретили здесь **коренного петербуржца**. Александр, раньше жил в Купчино.

— А где лучше, в Купчино или вот здесь?

— Ну, там площадь меньше квартиры была...

И вот они, типичные будни обитателей этих районов. Ежедневная давка в метро. И как-то это уже совсем **не по-петербургски**... И так каждое утро. Ради чего они терпят все эти неудобства, которые так напоминают жизнь в китайском Пекине, где самое большое в мире метро? За ответом на этот вопрос отправляюсь во двор самого большого дома России. Здесь 35 **парадных, которые называют подъездами**, и 3708 квартир. Вот Анаста-



сия, приехала из Калининграда, с мужем здесь снимают двушку, опаздывают в детский сад... Соседи приличные, тихие люди. В основном, как мы помним, **приезжие**.

— Коммунальные скандалы здесь редкость, — говорит Диана. Все вопросы решаем в чате, в котором почти три тысячи человек.

В общем, вот она — типичная жизнь в типичной квартире этого дома-гиганта, во дворе которого можно найти абсолютно все. Здесь только по официальным данным живут 18 тысяч человек<sup>2</sup>.

Темой сообщения, заявляемой в названии и в поверхностной структуре текста, стало разрастание новостроек в Ленинградской области, близко подступающих к городской черте Санкт-Петербурга. На небольшой территории возник замкнутый микрорайон с огромной плотностью заселения: возведен жилой дом, в котором 25 этажей и 3708 квартир. Крупнейший жилой комплекс Санкт-Петербурга и, как говорят, в России, «Новый Оккервиль», получил название «Человеиник» и стал медийно известным объектом из-за перегруженности пространства, плотной парковки машин, замкнутой конструкции, при которой люди почти не видят солнце, и других проблем.

Этот текст интересен тем, что может быть рассмотрен как часть дискурса, противопоставляющего петербургское непетербургскому. Противопоставление здесь отчетливо маркировано за счет контекстуальных антонимов «коренной петербуржец» и «приезжие», «переселенцы из других городов», «ипотечники», а также через оценочные определения «не Петербург», «не по-петербургски». Примечательно, как отдельное высказывание интердискурсивно соотносится с рядом других высказываний, текстов по линии разделения «коренной житель» и «приезжие» и, шире, включается в культурное и семиотическое противопоставление по линии «свой» и «чужой». Такое противопоставление коренных жителей города приезжим из других регионов не ново. Это особенно характерно для столичного города, «столичного синдрома» вообще, когда действует принцип деления на коренных (как носителей стабильных ценностей и представлений о должном, как носителей культуры Ленинграда и Санкт-Петербурга) и горожан в первом поколении, которые вливаются в население города. Жители северной столицы привычно отличают коренных петербуржцев от приезжих, не знающих «петербургского духа». Сложились представления о социальном типаже «петербуржца», который в общественном сознании поддерживается рядом семиотических средств, характеризующих внешний облик, признаки одежды (неброская, холодные цвета, минималистичный стиль), стиля поведения (сдержанность эмоциональных проявлений, дистанция) (см., напр.: (Васильева, Золотых, 2015)). Лингвистически идентификация и самопрезентация коренных горожан Петербурга выражается в выборе языковых средств, например лексем для (само)номинации уроженцев города: *ленинградец, петербуржец, питерец*.

В предлагаемом ракурсе исследования интересен и значим другой лингвистический маркер, задействованный для разделения по линии

<sup>2</sup> *Новостройки* вокруг Петербурга: как там жить? URL: <https://topspb.tv/programs/stories/515102/> (дата обращения: 01.09.2022).





*свой – другой*. Широко известна вариативность на лексическом уровне, характерная для языка петербуржцев в отличие от языка москвичей. Петербуржцы говорят «ржаной хлеб», тогда как москвичи и жители других регионов традиционно называют его черным. «Белый хлеб» в Петербурге называется «булка», борт тротуара – «поребрик», а не «бордюр», вход в многоквартирный дом называется «парадная», а не «подъезд». Последняя пара лексической вариативности стала классическим примером социолингвистического разделения по линии «петербуржцы» и «другие»<sup>3</sup>. В приведенной ситуации становится очевидным индексальный характер языковой единицы «парадная», которая прочитывается как хорошо видимый, приметный сигнал разделения петербуржцев и непетербуржцев. «Парадная» задействована для социальной атрибуции петербуржцев как особой социальной группы, она показывает релевантность связи между языковым знаком и «его» коммуникативным контекстом, в котором говорят и действуют как петербуржцы. Участник коммуникации распознаёт социальное значение, связанное с этой языковой единицей, оценивает ее использование и связанный смысл и демонстрирует это в высказывании, делая отчетливой свою рефлексию и «метапрагматическую осведомленность».

### Заключение

Изучение социального значения показывает актуальность теоретических положений о нетождественности семантики и прагматики в изучении языковых знаков, что наблюдаемо при изучении контекста и контекстуализации высказывания. Лексическое значение остается главным объектом семантики, а понятие «социальное значение» дает исследовательскую перспективу в ситуативный контекст, в дискурс, в сферу экстралингвистических факторов, влияющих на порождение и понимание высказывания. Тем самым прагматика переходит на уровень метапрагматики, которая изучает эффекты использования языка в дискурсе, изменение языковых значений под влиянием контекста. Индексальный и метапрагматический аспект в коммуникации информативен, поскольку позволяет наблюдать и фиксировать в анализе ту прагматическую экспансию, которая способна захватывать и менять семантику языкового знака.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ, проект «Прагмасемантика как интерфейс и операциональная система смыслообразования» № 22-18-00591, в БФУ им И. Канта.*

---

<sup>3</sup> Газета «Аргументы и факты» от 17 мая 2021 года свидетельствует об постоянной актуальности такой идентификации: «Интересно, что парадными называют и входы в многоквартирные дома на окраинах Северной столицы. Например, в хрущевках Купчино есть вывески, гласящие “Парадная №...”. Хотя как таковой этот вход не является парадным и считается подъездом. Но слово настолько закрепилось в речи петербуржцев, что его используют для любого входа». См.: Почему в Санкт-Петербурге парадные, а не подъезды? URL: [https://spb.aif.ru/society/pochemu\\_v\\_sankt-peterburge\\_parannye\\_a\\_ne\\_podezdy](https://spb.aif.ru/society/pochemu_v_sankt-peterburge_parannye_a_ne_podezdy) (дата обращения: 01.09.2022).



## Список литературы

Беляева Л. Н., Чернявская В. Е. Доказательная лингвистика: метод в когнитивной парадигме // Вопросы когнитивной лингвистики. 2016. №3. С. 77–84. <https://doi.org/10.20916/1812-3228-2016-3-77-84>.

Васильева Ю. А., Золотых Л. Г. Лингво-культурный типаж «Петербуржец» в русском языковом сознании // Гуманитарные исследования. 2015. №2 (54). С. 48–63.

Молодыхенко Е. Н. Метасемиотические проекты и лайфстайл-медиа: дискурсивные механизмы превращения предметов потребления в ресурсы выражения идентичности // Russian Journal of Linguistics. 2020. Т. 24, №1. С. 117–136. <https://doi.org/10.22363/2687-0088-2020-24-1-117-136>.

Молодыхенко Е. Н. Метапрагматические дискурсы и жанровая дифференциация в интернет-медиа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.: Язык и литература. 2021. Т. 18, №2. С. 363–382. <https://doi.org/10.21638/spbu09.2021.207>.

Молодыхенко Е. Н. Метапрагматика в жанроведении: нужен ли нам новый аналитический инструмент в эру интернет-медиа? // Вестник Томского государственного университета. Сер.: Филология. 2022а. №75. С. 67–93. <https://doi.org/10.17223/19986645/75/4>.

Молодыхенко Е. Н. Идентичность, стиль и стилизация: социолингвистическая перспектива // Общество. Коммуникация. Образование. 2022б. №2 (13). С. 11–29. <https://doi.org/10.18721/JHSS.13202>.

Молодыхенко Е. Н., Чернявская В. Е. Социальная репрезентация через язык: теория и практика социолингвистики и дискурсивного анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.: Язык и литература. 2022. Т. 19, №1. С. 103–124. <https://doi.org/10.21638/spbu09.2022.106>.

Чернявская В. Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. М., 2018.

Чернявская В. Е. Метапрагматика коммуникации: когда автор приносит свое значение, а адресат свой контекст // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.: Язык и литература. 2020. Т. 17, №1. С. 135–147. <https://doi.org/10.21638/spbu09.2020.109>.

Чернявская В. Е. Социальное значение в зеркале политической корректности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.: Язык и литература. 2021а. Т. 18, №2. С. 383–399. <https://doi.org/10.21638/spbu09.2021.208>.

Чернявская В. Е. Текст и социальный контекст: Социолингвистический и дискурсивный анализ смыслопорождения. М., 2021б.

Beltrama A. Social meaning in semantics and pragmatics // Language and Linguistics Compass. 2020. Vol. 14, №9. P. 1–20. <https://doi.org/10.1111/lnc3.12398>.

Blommaert J. Discourse: A Critical Introduction. Cambridge, 2005.

Eckert P. Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics. Cambridge, 2018.

Eckert P., Labov W. Phonetics, phonology and social meaning // Journal of Sociolinguistics. 2017. Vol. 21, №4. P. 467–496. <https://doi.org/10.1111/josl.12244>.

Labov W. Sociolinguistic Pattern. Oxford, 1972.

Leech G. Semantics. The Study of Meaning. Harmondsworth, 1981.

Löbner S. Understanding Semantics. L., 2002.

Lucy J. A. Reflexive language and the human disciplines // Reflexive Language. Reported Speech and Metapragmatics / ed. by J. A. Lucy. Cambridge, 1993. P. 9–32.

Mertz E., Yovel J. Metalinguistic awareness // Cognition and Pragmatics / ed. by S. Dominiek, J. Östman, J. Verschueren. Amsterdam, 2009. P. 250–271.



Silverstein M. Metapragmatic Discourse and Metapragmatic Function // *Reflexive Language: Reported Speech and Metapragmatics* / ed. by J. A. Lucy. Cambridge, 1993. P. 33–58.

Silverstein M. The Limits of Awareness // *Linguistic Anthropology: A Reader* / ed. by A. Duranti. Oxford, 2001. P. 386–401.

Silverstein M. Denotation and the Pragmatics of Language // *The Cambridge Handbook of Linguistic Anthropology*. Cambridge, 2014. P. 128–157.

Verschueren J. Notes on the role of metapragmatic awareness in language use // *Pragmatics*. 2000. №10. P. 439–456.

### Об авторе

Валерия Евгеньевна Чернявская, доктор филологических наук, профессор, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: Chernyavskaya\_ve@spbstu.ru

ORCID ID: 0000-0002-6039-6305

### Для цитирования:

Чернявская В. Е. «Парадную они называют подъезд»: социальное значение в семантике и метапрагматике // *Слово.ру: балтийский акцент*. 2023. Т. 14, №1. С. 72–85. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-5.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

## “THEY CALL THE MAIN ENTRANCE A PORCH”: SOCIAL MEANING IN SEMANTICS AND METAPRAGMATICS

V. E. Chernyavskaya

Immanuel Kant Baltic Federal University  
14 A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236016, Russia

Submitted on July 07, 2022

Accepted on November 15, 2022

doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-5

*The paper analyzes the concept of social meaning, which has been conceptualized in lexical semantics since the 1980s and has become central in modern sociolinguistics and linguistic anthropology. It has been used to describe pragmatic increments in the meaning of a language unit, which it receives in context. New explanatory approaches have developed from a sociolinguistic perspective in metapragmatics, where social meaning is seen as a social index that emerges in context. Social index (the index meaning of a sign) refers to typified social situations and social roles of participants of a communicative act. Social meaning is actualized when it can be interpreted in social interaction as being used to express certain connotations. This analytical review presents a contemporary conceptual apparatus and toolkit that enables linguists to describe the social perspective in constructing meaning and interpreting meaning formation in social contexts. The empirical material for the analysis reflects the contemporary sociocultural and discourse practices using the example of linguistic variability in Russian. The analysis of the Russian nouns “paradnaya” and “pod’ezd” shows how a language sign acquires a stable indexical character and is used to express social attribution.*

**Keywords:** social meaning, social index, sociolinguistics, metapragmatics

*The research was supported by the Russian Science Foundation, project №22-18-00591 “Pragmasemantics as an interface and operational system of meaning production” at the Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad.*



## References

- Beliaeva, L.N. and Chernyavskaya, V.E., 2016. Evidence-based linguistics: methods in cognitive paradigm. *Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki* [Issues of Cognitive Linguistics], 3, pp. 77–84, <https://doi.org/10.20916/1812-3228-2016-3-77-84> (in Russ.).
- Beltrama, A., 2020. Social meaning in semantics and pragmatics. *Language and Linguistics Compass*, 14 (9), pp. 1–20, <https://doi.org/10.1111/lnc3.12398>.
- Blommaert, J., 2005. *Discourse: A Critical Introduction*. Cambridge.
- Chernyavskaya, V.E., 2018. *Lingvistika teksta. Lingvistika diskursa* [Text Linguistics. Discourse Linguistics]. Moscow (in Russ.).
- Chernyavskaya, V.E., 2020. Metapragmatics: When the author brings meaning and the addressee context. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Yazyk i Literatura* [Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature], 17 (1), pp. 135–147, <https://doi.org/10.21638/spbu09.2020.109> (in Russ.).
- Chernyavskaya, V.E., 2021a. Social meaning in the mirror of political correctness. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Yazyk i Literatura* [Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature], 18 (2), pp. 383–399, <https://doi.org/10.21638/spbu09.2021.208> (in Russ.).
- Chernyavskaya, V.E., 2021b. *Tekst i sotsial'nyi kontekst: Sotsiolingvisticheskiy i diskursivnyi analiz smyslopороzhdeniya* [Text and social context: Sociolinguistic and discursive analysis of meaning generation] (in Russ.).
- Eckert, P. and Labov, W., 2017. Phonetics, phonology and social meaning. *Journal of Sociolinguistics*, 21 (4), pp. 467–496, <https://doi.org/10.1111/josl.12244>.
- Eckert, P., 2018. *Meaning and Linguistic Variation: The Third Wave in Sociolinguistics*. Cambridge University Press.
- Labov, W., 1972. *Sociolinguistic Pattern*. Oxford.
- Leech, G., 1981. *Semantics. The Study of Meaning*. Harmondsworth.
- Löbner, S., 2002. *Understanding Semantics*. Routledge.
- Lucy, J.A., 1993. Reflexive language and the human disciplines. In: J.A. Lucy, ed. *Reflexive Language. Reported Speech and Metapragmatics*. Cambridge, pp. 9–32.
- Mertz, E. and Yovel, J., 2009. Metalinguistic awareness. In: S. Dominiek, J. Östman and J. Verschueren, eds. *Cognition and Pragmatics*. Amsterdam, pp. 250–271.
- Molodychenko, E.N. and Chernyavskaya, V.E., 2022. Representing the social through language: Theory and practice of sociolinguistics and discourse analysis. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Yazyk i Literatura* [Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature], 19 (1), pp. 103–124, <https://doi.org/10.21638/spbu09.2022.106> (in Russ.).
- Molodychenko, E.N., 2020. Metasemiotic Projects and Lifestyle Media: Formulating Commodities as Resources for Identity Enactment. *Russian Journal of Linguistics*, 24 (1), pp. 117–136, <https://doi.org/10.22363/2687-0088-2020-24-1-117-136> (in Russ.).
- Molodychenko, E.N., 2021. Metapragmatic discourses in differentiating genres in online media. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Yazyk i Literatura* [Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature], 18 (2), pp. 363–382, <https://doi.org/10.21638/spbu09.2021.207> (in Russ.).
- Molodychenko, E.N., 2022a. Integrating metapragmatics into genre analysis: Does the analytical toolkit need an upgrade in the digital era? *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya* [Tomsk State University Journal of Philology], 75, pp. 67–93, <https://doi.org/10.17223/19986645/75/4> (in Russ.).
- Molodychenko, E.N., 2022b. Identity, style, and styling: a sociolinguistic perspective. *Terra Linguistica*, 2 (13), pp. 11–29, <https://doi.org/10.18721/JHSS.13202> (in Russ.).



Silverstein, M., 1993. Metapragmatic Discourse and Metapragmatic Function. In: J. Lucy, ed. *Reflexive Language: Reported Speech and Metapragmatics*. Cambridge, pp. 33–58.

Silverstein, M., 2001. The Limits of Awareness. In: A. Duranti, ed. *Linguistic Anthropology: A Reader*. Oxford, pp. 386–401.

Silverstein, M., 2014. Denotation and the Pragmatics of Language. In: *The Cambridge Handbook of Linguistic Anthropology*. Cambridge, pp. 128–157.

Vasilieva, Ju. A. and Zolotykh, L. G., 2015. Linguistic-cultural type «Petersburger» of Russian Linguistic Mentality. *Gumanitarnye issledovaniya* [Humanitarian Researches], 2 (54), pp. 48–63 (in Russ.)

Verschueren, J., 2000. Notes on the role of metapragmatic awareness in language use. *Pragmatics*, 10, pp. 439–456.

### The author

Dr Valeria E. Chernyavskaya, Senior researcher, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: Chernyavskaya\_ve@spbstu.ru

ORCID ID: 0000-0002-6039-6305

#### To cite this article:

Chernyavskaya, V. E., 2023, “They call the main entrance a porch”: social meaning in semantics and metapragmatics, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 14, no. 1, p. 72–85. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-5.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) LICENSE ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

## СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ В ДЕЙСТВИИ: ОМОН, ОМОНИМЫ И АНТОНИМЫ

*С. Т. Золян*

Балтийский федеральный университет им. И. Канта  
Россия, 236016, Калининград, ул. Александра Невского, 14

Поступила в редакцию 05.08.2022 г.

Принята к публикации 15.11.2022 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-6

*В статье рассматривается процесс взаимодействия различных интерпретаций одних и тех же лексических единиц, который приводит к изменению соотношений между означаемыми и означаемыми и формированию новых знаков. На примере многозначного лозунга «ОМОН-И-МЫ – АНТОНИМЫ» продемонстрирован механизм семиотического перпетуум мобиле – циклических рекурсий, позволяющих одновременно актуализировать различные интерпретации высказывания. Показано, что изучение смысловых отношений в их динамике требует введения новых понятий. Демонстрируется общий принцип динамического семиозиса – рекурсивные отношения, при которых означаемое одного знака посредством промежуточных операций (омонимии и синонимии) становится означающим другого и наоборот. В этом семантическом перпетуум мобиле ни одна интерпретация не достигает конечной точки покоя, она скальвается к предшествующему состоянию, не порождая новых значений и знаков, но повторяя уже пройденный цикл. Каждая из взаимосуществующих интерпретаций возвращается к себе самой, демонстрируя парадоксальным и тавтологичным образом лумановскую концепцию парадокса и тавтологии как двух единственно возможных состояний описывающей себя системы. Рассмотрение этого процесса в перспективе начиная с исходной точки в последовательности операций выявляет тавтологичный (рекурсивный) и парадоксальный (инверсивный) характер самого механизма сигнификации.*

**Ключевые слова:** динамический семиозис, омонимия, антонимия, синонимия, рекурсия, многозначность

### **Введение: лексикология как инструмент политики**

В дни массовых протестов лета 2020 года в Беларуси особое внимание привлек один из плакатов, с которым вышли студенты Белорусского национального технического университета (БНТУ) (рис. 1). Он был воспроизведен в социальных сетях, а по итогам опроса радиослушателей «Эха Москвы» от 30 августа 2020 года плакат стал «словом недели».

Безусловно, целью его авторов было выразить несогласие с политикой властей, и, в первую очередь, с действиями минского ОМОНа. Но это несогласие можно было выразить и в прямой форме, так что сугубо политическое объяснение не представляется исчерпывающим. Нельзя его объяснить и требованиями обойти политическую цензуру или какие-либо запреты: политический смысл прозрачен, а нарушением закона, кроме того, могло быть сочтено и само использование плаката



безотносительно к тому, что на нем написано. Так что создание подобного текста можно рассмотреть как перетекание политической функции в поэтическую — установка на выражение политического содержания становится ступенью для выражения самой формы выражения, актуальный политический смысл сопряжен с установкой на экспликацию семиотических характеристик самих смысловых отношений (омонимии, антонимии, полисемии) и даже самой сигнификации — отношения между означаемым и означающим.



Рис. 1. Плакат на демонстрации<sup>1</sup>

Поскольку подобное семиотическое развитие вряд ли входило в замыслы участников акции, то можно толковать это как проявление семипоззиса, семиозиса в действии, когда благодаря внутренней динамике знаковой системы происходит экспликация различных внутрисистемных отношений между означающими и означаемыми.

Рискнем утверждать, что этот небольшой текст хоть и не опровергает, но тем не менее существенно дополняет концепцию семантических уровней Луи Ельмслева (1960) и Альфреда Тарского (Tarski, 1944), пред-

<sup>1</sup> Источник: <https://www.facebook.com/echoporusski/posts/1542895845896065/> (дата обращения: 01.08.2022). Компания «Мета», владеющая социальной сетью Facebook, признана в РФ экстремистской, ее деятельность в России запрещена.



полагающую строгое разграничение между языком-объектом и метаязыком, а также рассматривающую их смешение как недопустимое явление, приводящее к парадоксам. Между тем в данном случае адекватное прочтение предполагает именно такое смешение: переход от языка-объекта к метаязыку и обратно создает постоянно воспроизводимую цикличность. Различные операции – стадии этого процесса можно уподобить тому, что в последнее время называют *странной петлей Хофштадтера* (Hofstadter, 2013, p. 11) – это иерархическая структура, предполагающая замыкание (возвращение в исходное состояние) и рекурсию между единицами различных уровней (наглядной иллюстрацией могут послужить гравюры Эшера). Такое взаимодействие уровней носит многомерный и симультанный характер, однако при изложении мы вынуждены «расчленивать» этот процесс на отдельные стадии, с тем чтобы попытаться воссоединить их в Заключении.

## 2. Омонимы – не ОМОН-и-мы

Применительно к данному плакату уже само выделение высказывания и даже ответ на вопрос «Что здесь написано?» оказывается проблематичным. Назвать плакат многозначным недостаточно. В нем – и это подчеркнуто графикой и цветом – выделяются два (по крайней мере) высказывания: *ОМОНИМЫ – АНТОНИМЫ* и *ОМОН и мы – антонимы*. Текст не просто допускает двоякую интерпретацию: он ее требует. При этом эти две интерпретации не образуют блендинга, поскольку они принципиально не могут быть совмещены и взаимодействуют друг с другом именно «как единое целое», как символ, смысловые разрешения которого трансфинитны, но замкнуты в строго очерченную сферу, цельнооформленные структуры» (используя удачное выражение В. В. Виноградова (1930, с. 67)). Они скорее находятся в отношении маятника (или *контрданса*), одно толкование отсылает ко второму, но так, чтобы второе отсылало к первому<sup>2</sup>. При этом могут изменяться и значения отдельных компонентов. *Омон и мы* при одном прочтении – это словосочетание, при другом – квазиморфы, результат квазиморфологического анализа слова «омонимы». Но вследствие этого переосмысливается (переразлагается) морфологически неразложимый лингвистический термин «омонимы» – из обозначения отношения между идентичными означающими он преобразуется в сложное слово, состоящее из двух корней, каждый из которых обозначает социальную группу. Соответственно, и другой лингвистический термин, *антоним*, приобретает дополнительное значение – быть антиподом, ан-

<sup>2</sup> Мы используем слово, введенное в оборот Осипом Мандельштамом в иной связи, но для описания сходного явления: «Страшный контрданс “соответствий”, кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой» (Мандельштам, 1999, с. 227). Для обозначения этого механизма (постоянного перехода от денотативного значения к коннотативному и обратно) Ролан Барт использовал сравнение с турникетом (вертушкой) (Барт, 1994). Аналогичный механизм действует и в случае так называемого двоемыслия. См.: (Золян, 2018).





тагонистом. В дополнение к этому возникает уникальное отношение автореференции: *ОМОН* и *мы* и *Омонимы* — это в самом деле омонимы, циркулярность оборачивается рекурсией, рекурсия — циркулярностью. Возникает квазилексикографическая интерпретация: *омон* — это квазикорень лексемы *Омоним*; *ОМОН* — *отряд милиции особого назначения*.

Образуемые знаки являются словами-матрешками, или словами-портмоне<sup>3</sup>, поскольку оба, *омонимы* и *ОМОН*, состоят из двух отражающихся друг в друге значений, и, одновременно, словами-петлями, поскольку значения второго члена приводят к переосмыслению первого, и наоборот. Так, минский *ОМОН* перестает существовать как денотат, он становится означаемым для метаязыковой операции, которая при этом осложнена операцией словообразования:  $ОМОН_1$  — аббревиатура, обозначение отряда милиции особого назначения<sup>4</sup> преобразуется в —  $омон_2$  —, квазикорень слова «омоним», и этот новый, образованный от  $ОМОН_1$   $омоним_2$  есть омоним термину  $омоним_1$ .

Попытки отобразить это постоянное движение (или взаимоотражение) приводят к следующей петлеобразной схеме, при которой означаемое на шаге N становится означаемым на шаге N+2 и т.д., поскольку возможно и обратное движение.

[ОЗНАЧАЕМОЕ]  $Омонимы_1$  (метаязыковое отношение)  $\Leftrightarrow$   
 $\Leftrightarrow$  [ОЗНАЧАЮЩЕЕ]  $ОМОН_2$  И  $МЫ_2$   $\Leftrightarrow$   
 $\Leftrightarrow$  [ОЗНАЧАЕМОЕ]  $ОМОН_1$  И  $МЫ_1$   $\Leftrightarrow$   
 $\Leftrightarrow$  [ОЗНАЧАЮЩЕЕ]  $ОМОНИМЫ_1$  (лингвистический термин)  $\Leftrightarrow$   
 $\Leftrightarrow$  [ОЗНАЧАЕМОЕ]  $ОМОНИМ_2$

Омонимия как лингвистическое понятие иллюстрирует самое себя посредством операции омонимии. Омонимия как отношение (означаемое) манифестируется в паре

[ОЗНАЧАЮЩЕЕ]  $ОМОН_2$  И  $МЫ_2$   $\Leftrightarrow$  [ОЗНАЧАЕМОЕ]  $ОМОН_1$  И  $МЫ_1$ ,  
 которую также можно рассматривать как знак. Этот знак, в свою очередь, есть означающее лингвистического термина «ОМОНИМЫ», что возвращает нас к исходной точке — омонимы:

<sup>3</sup> «Понимаешь, это слово как бумажник. Раскроешь, а там два отделения! Так и тут — это слово раскладывается на два! (You see it's like a portmanteau — there are two meanings packed up into one word)». Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье (пер. Н. Демуровой).

<sup>4</sup> Заметим, что *ОМОН* и производные от нее «омоновцы» уже стали в русском лексическими единицами, поэтому переименование милиции на полицию не повлияло на аббревиатуру и не привело к аббревиатуре *ОПОН* (*ОПОН*, как можно судить по данным Википедии, есть только в Молдове и Азербайджане). Поэтому в МВД пришлось скорректировать аббревиатуру с учетом уже сформировавшегося узуса — «М» осталось, но должно читаться как «мобильный». Ср. «Министр внутренних дел Рашид Нургалиев исправил сумятицу в умах и подписал приказ о переименовании *отряда особого назначения* в *отряд мобильный особого назначения*. Таким образом, подразделению спецназа вернулась исконная аббревиатура — *ОМОН*, вместо изрядно смущавшего участников всевозможных акций ООН». См.: Никитина Ю. Из России вывели отряды ООН. URL: <https://www.fontanka.ru/2011/12/08/064/> (дата обращения: 01.09.2022). Тем не менее в словарях (Ожегова, Юридическом и др.) «м» в составе аббревиатуры расшифровывается как «милиция».



## [ОЗНАЧАЮЩЕЕ] «ОМОНИМЫ» &lt;=&gt;

<=> [ОЗНАЧАЕМОЕ] Омони́мы<sub>1</sub> (метаязыковое отношение).

Цепочка замкнулась в петлю, породив внутри себя также и малую петлю. Приблизительно этот семиотический круговорот можно перефразировать как:

1. Выражения «ОМОН И МЫ – ОМОНИМЫ» есть ОМОНИМЫ.
2. Слово «Омонимы» есть омоним к выражениям «ОМОН и МЫ».
3. Выражения «ОМОН И МЫ – ОМОНИМЫ» есть ОМОНИМЫ,

и так до бесконечности. При этом наложение двух прочтений друг на друга создает предикацию: *омон и мы – омонимы*, что совершенно верно если рассматривать правую часть как лингвистический термин. Соответственно, правая часть, предикат, также допускает разложение, что приводит к новому циклу рекурсий. С другой стороны, возможны и тавтологические прочтения: *омонимы – омонимы*, *омон и мы – омон и мы*, но при этом компоненты могут пониматься в различных смыслах (омон<sub>1, 2</sub>; омоним<sub>1, 2</sub>; мы<sub>1, 2</sub>).

Люди (ОМОНовцы, мы, студентки) становятся квазиморфами, а те, на следующем цикле интерпретации, становятся людьми, студентками и омовцами, но с тем, чтобы вновь превратиться в знаки, манифестацию металингвистических отношений. Одни и те же означающие описывают различные ситуации, что и обозначается как отношение омонимии. Омонимия как металингвистическое отношение экземплифицирует саму себя. Соединение двух интерпретаций, выраженных посредством омонимичных означающих, создает рекурсивную петлю.

Внутри этой большой петли имеют место и две малые: омон<sub>1</sub> – омон<sub>2</sub>; мы<sub>1</sub> – мы<sub>2</sub>. В обоих случаях на уровне означаемых происходит конвертация квазиморфов в лексемы и обратно, а на уровне означаемых – знаков в денотаты (студенток, омовцев). Отношение студентов к минскому ОМОНу предстает как проявление описывающей саму себя омонимии. Соответственно, та же цикличность наблюдается при преобразовании первичных значений во вторичные, и наоборот, то есть (квази)морфы трансформируются в людей, а люди – в лингвистические единицы и отношения. Та же трансформационная логика действует и при расширении исходной петли, вовлекая в процесс интерпретации уже иные метасемиотические отношения и операции.

### 3. ОМОН и МЫ – антонимы; омонимы – антонимы

Вышепредложенная схема семантизации дополняется благодаря тому, что предикат «антонимы» задает иное направление – он разрывает авторекурсивную петлю, но чтобы создать новую, включающую в себя первую. Продолжением оказывается указание на другое лексико-семантическое отношение: омонимы внутри себя заключают антонимы. Это то дополнительное прочтение, которое накладывается на буквальное неправильное, а, точнее, парадоксальное прочтение: *омонимы суть антонимы*.

Омонимия субъектной части предложения (ОМОН-И-МЫ<sub>1</sub>) / ОМОН и МЫ<sub>2</sub> индуцирует многозначность его предиката – слова *ан-*



тонимы. Лингвистический термин «антонимы», который в существующих словарях описывается как однозначный, приобретает метафорическое значение. Значение «слова, противоположные по смыслу» преобразуется в «люди с противоположными взглядами: *антиподы, антагонисты*». Но сохраняется и буквальное значение, поскольку оно поддерживается исходным значением термина *омонимы*. Именно противоречивость утверждения *Омонимы – антонимы* приводит к требуемому прочтению *Мы и омовцы – антиподы*. Однако эту интерпретацию нельзя считать аннулирующей предыдущие прочтения и стадии семиозиса. Интерпретация *ОМОН и МЫ – антиподы* возникает потому, что она опирается на те же структуры смысла, что и первая, она возникает как результат разложения слова «омонимы» на квазиморфы, и этим мотивировано появление лексикологического термина «антонимы» в качестве предиката. Первая интерпретация внедрена во вторую, вторая – в первую. Омонимы оказываются не омонимами, а омовцами, а антонимы – не словами, а антиподами. Исходные, словарные значения не теряются, но уже как результат вторичной интерпретации воздействуют на первые – от минского *ОМОН*а остается только означающее («*ОМОН*» функционирует как квази-морф), в то время как *МЫ* из квазиморфа превращаются в девушек, держащих плакат.

Два уровня семантики порождают два переплетенных между собой высказывания: *Омонимы (омонимы, омон и мы) – антонимы<sub>1, 2</sub>*.

Поскольку омонимы не могут быть антонимами, происходят две операции: метафоризация слово *антоним*; из лингвистического термина – слова, *противоположные по смыслу*, оно становится обозначением отношения социальной противопоставленности, синонимичным слову *антиподы*. Благодаря этому происходит также и материализация термина *омонимы* – оно начинает обозначать этих антиподов: это, с одной стороны, «*ОМОН*», а с другой – «*Мы*», то есть говорящие. Поднятие девушкой плаката эквивалентно высказываемому: «Я и такие как мы – антиподы омовцам». Рекурсивная петля возникает, но уже как следствие многозначности: лингвистическое отношение антонимии переносится на отношение между людьми.

ЗНАК <sub>1</sub>		ЗНАК <sub>2</sub>		ЗНАК <sub>3</sub>	
ОМОНИМЫ		ОМОН и МЫ		ОМОН и МЫ – АНТОНИМЫ <sub>2</sub>	
«омонимы»	Слова, одинаковые по звучанию, но различающиеся по смыслу	Знак 1	Омовцы и мы	Знак 2	Пропозиция «Я и подобные мне антиподы омовцам»

При таком прочтении рекурсивная петля предстает как матрешка; знак<sub>3</sub> включает в себе предыдущие петли, которые могут быть извлечены из этого знака, и тогда возникают новые циклы. Данный пример демонстрирует, каким образом возможно соотнесение между омонимией и антонимией. Так, отношение омонимии можно формализовать как основанное на идентичности означающих дизъюнкция их означаемых (*омонимы* ИЛИ (*омон и мы*)), причем, в отличие от многозначности, это отношение несистемное, указывающее на несопоставимые, не имеющие какой-либо общности различия.



Отношение антонимии также есть дизъюнкция, несовместимость означаемых, выраженных посредством различных означающих, но предполагающая наличие некоторого родового семантического признака, относительно которого возможны полярные значения. В данном случае такими полярными членами оказываются *ОМОН* и *Мы*.

Обратим внимание на амбивалентность союза «И» — он может пониматься и как конъюнкция, образующая нечто единое из составных частей (применительно к квазиморфам «Омон» и «Мы» образующая слово «Омонимы») или же как перечисление разнородных отдельных объектов (и мы, и ОМОН — антонимы). Примечательно, что сами по себе термины *Антонимы* — *Омонимы* не могут быть сопоставлены между собой, поскольку обозначают отношения, лежащие в разных плоскостях. Но антонимичными оказываются компоненты слова «омонимы»; операция над означающим — разложение слова — приводит к трансформации означаемых. Омонимия, сменя означаемое, становится отношением, антонимичным самому себе; омонимия трансформируется в антонимию (рис. 2).



Рис. 2. Трансформация антонимии в омонимию и обратно

#### 4. Омонимы-антонимы — синонимы

Уравнение «омонимы — антонимы» своей грамматической формой имплицитно вводит еще одно семантическое отношение — синонимию. Буквальное прочтение уравнивает делает антонимы и омонимы синонимичными, омонимы есть антонимы<sup>5</sup>. Можно говорить об уста-

<sup>5</sup> Ю.С. Степанов, опираясь на результаты Патрика Серию, отмечает особую роль сочинительных конструкций в политическом дискурсе: «Сочинение — другая особенность советского политического дискурса. Оно приобретает две основные формы — либо соединяются посредством союза “и” два понятия (или большее их число), которые в обычной русской речи, т.е. за пределами данного “дискурса”, синонимами не являются: например, “партия”, “народ” — результат “партия и народ”». Либо, при другой форме сочинения, союз “и” вообще устраняется и логические отношения между соединенными понятиями вообще приобретают форму, не поддающуюся интерпретации: например, “партия, весь советский народ”; “комсомольцы, вся советская молодежь”. Результатом этой процедуры оказывается следующий семантический парадокс: огромное количество понятий в конечном счете оказывается как бы синонимами друг друга, чем и навеивается идея об их действительном соотношении в “жизни”, о чем-то вроде их “тождественности”» (Степанов, 1998, с. 673).



новлении определенного метонимического отношения, уподобления по смежности двух лексико-семантических отношений, омонимии и антонимии. Метафоризация термина «антонимы» создает возможность и для метафоризации термина «омонимы», его можно понимать как внешнее подобие при значительных внутренних различиях — что порождает продуцируемое как комбинацию имеющихся разбиений знака *омон* и *мы* новое высказывание (*ОМОН* и *Мы* — омонимы) — антонимы, то есть внешне похожи, но очень различны, то есть антонимичны.

Между тем персонифицирующее прочтение предполагает иную метафоризацию: *мы* и *ОМОН* не синонимы, поэтому омонимы не синонимы. Это приводит к сдвигу значения сразу по нескольким направлениям, из которых наиболее очевидным будет сдвиг метаязыкового отношения: *означаемое* — *означающее*. Омонимы — это слова, у которых совпадают означающие, но отличаются означаемые. Синонимы — наоборот, при различии означаемых отсылают к сходным означаемым (а в данной формулировке — тождественным) означающим.

В лингвистике дихотомию составляют другие пары: антонимы соотносятся с синонимами, а омонимы — с многозначными словами. Омонимы не могут быть антонимами (в данном случае не будет оправданным указание на возможность энантиосемии, поскольку энантиосемия связана с многозначностью, о чем см. ниже), равно как и не может быть единения («синонимии») между «ОМОНом» и нами. Одно прочтение опровергает другое. Так что «правильная» интерпретация будет противоположной буквальной: *Омонимы* — не *антонимы*, *ОМОН* и *мы* — не *едины*. Указанная операции, уравнивающая синонимы и антонимы, приводит к иронии — пониманию буквально сказанного в прямо противоположном смысле, то есть к особому — надлексическому — типу антонимии. Тем самым высказывание и утверждает, и отрицает механизм антонимии: одно прочтение приводит к отношению синонимии, чтобы быть подвергнуто операции отрицания и стать отношением антонимии. Омонимы и антонимы при одном прочтении синонимы, при другом — антонимы.

Предыдущее прочтение приводило к установлению равенств: *омон* и *мы* / *омонимы* — это *омонимы*, причем речь шла о единицах языка-объекта, словах *ОМОН* и *мы* и *омонимы*, и метаязыковой единице *омонимы*, характеризующей отношения между единицами языка-объекта. Но при этом слово «омоним<sub>1</sub>» в позиции грамматического субъекта выступает как единица языка-объекта и одновременно как подразумеваемый предикат, омоним<sub>2</sub> — как единица метаязыка. Подобная семантизация таит парадокс: предикат приписывает антонимические отношения грамматическому субъекту-омониму, что возвращает ситуацию к предыдущему случаю. Вместе с тем нет отношения иерархии между единицами языка-объекта и метаязыка: знак<sub>2</sub> *ОМОН* и *мы*, отсылает обратно к знаку<sub>1</sub> *ОМОНИМЫ*. Но в тексте этот предикат опущен, и вместо него появляется другая единица языка-объекта: «антонимы». Тем самым уравниваются субъект и предикат, правая и левая части выска-



звания: *Омонимы – антонимы*. В этом случае направление трансформации смысла противоположное – она идет от метаязыкового употребления *антонимы* к объектному, слово омоним оказывается синонимичным единице языка-объекта «*антиподы*». Возникают два уравнения отношений второго порядка, в свою очередь создающих уже третий уровень: единицы метаязыка сами оказываются объектом метаязыковой интерпретации: *омонимы* относятся к *антонимам* как *синонимы*, если считать, что и в левой, и в правой частях речь идет не о самих словах, а о выражаемых ими отношениях. Но предыдущее объектное (олицетворяющее) прочтение «омонимов» как омонимов приводит к ироническому переосмыслению отношения *омонимы / антонимы* → *синонимы*, оно из метаязыкового оказывается референциальным, синонимичным высказыванию *омон и мы – антиподы*. При таком прочтении все компоненты высказывания употреблены как единицы языка-объекта. Так возникает уже новая петля: третий уровень описания приводит к кристаллизации исходной несемантической ситуации-референта – противостояния двух социальных групп, то есть студентов и омонимов.

Операция над означающим порождает референтов (омонимов и студентов), которым суждено противостоять друг другу на улицах Минска, чтобы потом опять стать означаемыми слов *омон* и *мы*, словами с несовместимыми значениями, антонимами. Возможна и обратная деривация – омонимичные, то есть внешне не отличимые жители Минска (омонимы) разделились на своих и чужих, несовместимых по сути (значению) друг с другом *нас* и *омонимов*. Омонимия стала антонимией, наделяя смыслом лингвистически абсурдное высказывание «*Омонимы – антонимы*».

Возможность различных интерпретаций, одновременно выступающих по отношению друг другу как синонимы и антонимы, в свое время была предусмотрена Юрием Лотманом:

Возможность для двух текстов одновременно выступать друг по отношению к другу в качестве синонимов и в качестве антонимов подводит нас к новому вопросу. Подобная смысловая игра не обязательно связывается с художественной функцией – область ее более широка. Это один из механизмов смыслопорождения. Особенность его, в частности, в том, что сама природа смысла определяется только из контекста, то есть в результате обращения к более широкому, вне его лежащему пространству (Лотман, 1992, с. 59).

Лотман в качестве наиболее очевидного примера приводил иронию: «Откуда, умная, бредешь ты голова» – при обращении к ослу сочетание «умная голова» меняет смысл на противоположный (Там же). Наш пример позволяет несколько дополнить наблюдение Лотмана: здесь не требуется «более широкое пространство», поскольку интерпретация оказывается замкнута на себя, высказывание само образует свой контекст и вбирает контекст в себя. Знание о событиях в Минске летом 2020 года поможет понять историю появления этого плаката, но оно не столь существенно для его возможных интерпретаций.



## 5. Омонимия – полисемия

Как было показано выше, анализируемое высказывание постоянно порождает многозначность. Разграничение омонимии и полисемии – традиционная проблема лингвистики. Принято считать, что многозначность может привести к омонимии, если значения настолько далеко отклоняются друг от друга, что уже не соотносимы между собой (проблема именно в том, как указать этот предел). Однако в данном случае эта омонимия порождает многозначность, создавая отсутствующие в системе языка связи между *ОМОНОМ* и *омонимией*. Заметим, что в отличие от тривиальной игры слов (напр., «*в банке собирали банки*»), эти связи создаются не автором текста, а самими внутрисистемными отношениями между означаемым и означающим, взаимодействие которых генерирует различные прочтения. При этом поскольку различные прочтения отрицают друг друга, то полисемия выступает также и в форме энантиосемии. Впрочем, описываемая здесь многозначность отлична и от энантиосемии, когда в зависимости от контекста можно определить антонимичные значения, и от амбивалентности, когда различные значения совмещены, здесь же различные интерпретации существуют совместно, накладываясь, но не смешиваясь друг с другом. (Традиционно используемые в лексикологии термины описывают лексико-семантические отношения в статике, жестко разграничивая их, тогда как при описании взаимодействия различные операции могут дополнять друг друга.)

Отношения между лексическими единицами переносятся на обозначение отношений между людьми. Как уже было рассмотрено в начале, квазиморфы становятся обозначением людей – антиподов, что возвращает к исходной антиномии *Мы – ОМОН*, но в уже ином воплощении. Основанная на рекурсии *странная петля* воплотилась в парадокс – сочетанием несочетаемого, совмещением антонимии и синонимии, то есть энантиосемией, которая в данном случае опять разлагается на свои составляющие – омонимы, которые при одном прочтении предстают как антонимы, при другом – как синонимы.

Наряду с этим есть и другой аспект, позволяющий уточнить теоретические положения. Многозначность можно определить как возможность синонимии – заменимости в некоторых контекстах, но не во всех (ср.: Курилович, 1955). В данном случае этот тест применим только к многозначности слова *антоним* – при некоторых толкованиях оно может быть заменено на *антипод* или *антагонист*. В других случаях в качестве заменяющего слова выступает оно само, но в ином семантическом модусе – объектном и метаязыковом. Так, другим значением слова *антоним* будет «*отношение между словами 'омоним' и 'антоним'*». Это значение может быть передано другими взаимозаменяемыми выражениями – этим же словом *антоним*. Но при этом словосочетание *отношение между выражениями 'омонимы' и 'ОМОН и мы'* может быть выражено тем же словом *омонимы*. Как видим, возможна ситуация, когда синонимом к



одному из значений многозначного слова оказывается не другая лексическая единица, а оно само, но с измененными связями между означаемым и означающим (ср.:  $ОМОН_1$  и  $омон_2$ ; *омон-и мы* – омонимы).

Многозначность обусловлена не только актуализацией различных значений лексической единицы, но и неоднозначным разложением знака на непосредственные конститuentы. Если попытаться найти синтаксическое определение тому, что написано на плакате, то это вряд ли возможно, поскольку в тексте снимается разграничение между внутренним синтаксисом слова и синтаксисом сочетания и предложения. Отношения между лексическими единицами перенесены внутрь слова. Морфологически неразложимое слово *омоним* переосмысливается как омонимичное ему словосочетание «ОМОН» и «Мы»:

омонимия  
Омонимы <-----> ОМОН и мы.

Между членами словосочетания устанавливается отношение антонимии:

антонимия  
ОМОН <-----> и мы.

Одновременное наличие отношений омонимии (одно и то же означающее) и антонимии (семантическая противопоставленность означаемых) создает новый энантиосемичный знак *ОМОН-И-МЫ*, прочитываемый двояким способом: при одном прочтении он предстает как антоним самому себе, при другом – как омоним.

Свертывание словосочетания в слово и развертывание словосочетания в предложение при изменяющемся модусе референции вызывает актуализацию различных значений и всякий раз запускает процесс интерпретации в противоположном направлении. Уличный протест преобразуется в работающую модель, своего перпетуум мобиле порождения семантических отношений. Антонимия указывает на синонимию, но синонимия преобразуется в многозначность, многозначность преломляется как референция к ОМОНу, чтобы быть нейтрализованной внутрилингвистическими операциями, периодичной автореферентной рекурсией: «отношение *омон и мы*» есть отношение омонимии», но в то же время «отношение омонимии есть отношение антонимии».

Само слово «Омонимы» внутри себя «скрывает», а на плакате «выносит наружу» антонимичную пару «омон – мы» и становится многозначным. Однозначный лингвистический термин раздваивается, и из метаязыкового обозначения отношения между знаками трансформируется в характеристику социальных отношений (рис. 2). Это приводит к новому преобразованию – другой метаязыковой термин *антонимы* также приобретает новое, еще не отмеченное в словарях значение и становится обозначением социальных отношений. Возникает парадоксальное референтное прочтение – *Они и мы* – *антонимы*. Но интер-





претационный цикл может быть продолжен — если актуализировать первичное значение термина. Тогда уже «омоновцы» и «студенты» выступают как неодушевленные знаки, как квазиморфы слова *омонимы* и в то же время слова русского языка *омон* и *мы*. Означаемым, референтом единицы оказываются лексические единицы русского языка при метаязыковом модусе их употребления. Лексические единицы, относящиеся к метаязыку и призванные характеризовать отношения между единицами языка-объекта, сами употреблены как единицы языка-объекта. А метаязыковые лексико-семантические отношения, трансформировались в единицы языка-объекта и обрели своих референтов: из системы языка они перебрались в высказывание на плакате, а оттуда уже и на улицы Минска.

## 6. Разные *Мы*: перформативное прочтение

Помимо лексикологических интерпретаций следует учесть также и возможность прочтения плаката как перформативного высказывания. В этом случае ключевым оказывается местоимение «мы», которое в данном случае может пониматься в трех значениях.

Плакат, который держат две девушки, можно считать письменным эквивалентом высказывания, и *мы* — это именно те две девушки, которые описывают себя как «мы». Однако «мы» — это так называемый неопределенный индексикал (Бенвенист, 1974; Przełęcki, 1983), его референция не может быть однозначно определена и сведена к говорящему лицу. Поэтому возможно расширение: *мы* — это студенты университета, которые стоят позади двух девушек, это университет, видимый на заднем плане (в кадре четко читается надпись БНТУ). Возможно и максимально широкое прочтение: *мы* — все, кто *не Омон*, любой, кто говорит «мы». Можно разграничить перформативное *мы*<sub>1</sub>, это говорящие, и дескриптивное *мы*<sub>2</sub>, о которых говорится. Экстенсионалы этих *мы* могут совпадать как при наиболее узком прочтении (*мы* — это только держащие плакат; девушки имеют в виду исключительно себя), так и при расширительном. Тем не менее это прагмасемантически различные *мы*: те, кто держат плакат, и те, о ком написано на плакате. Высказывание можно представить в эксплицитной форме: *Мы*<sub>1</sub> *говорим: ОМОН* и *Мы*<sub>2</sub> — *Антонимы*.

Но знак «*мы*» появляется и как квазиморф в слове *Омон-и-мы*. Поскольку написанное на плакате высказывание допускает также и графически отграниченное от первого второе прочтение, *Омонимы* — *антонимы*, то можно говорить о двух речевых актах, использующих одно омонимичное означающее. Как и в случае других личных местоимений, означаемое местоимения *мы* есть результат операции самообозначения говорящих посредством категорий речевого акта. В данном случае она сопряжена с операцией включения *мы* в качестве квазиморфа в слово *омонимы*.

При перформативном прочтении имеет место не разложение слова, а его «склеивание», из двух компонентов посредством сочинительного



союза создается слово *омонимы*. Различные значения, которые принимает местоимение / квазиморф *мы*, основываются на чередовании и в то же время совмещении метаязыкового и объектного значения.

«Мы» — это две девушки;

Мы — квазиморф в слове *омонимы*;

Мы — все, кто говорит «мы»;

Мы — антонимы омонимов;

Мы — антиподы ОМОНа.

Хотя при анализе *мы* вынуждены расчленить написанное на плакате на два высказывания, само поднятие плаката есть единое перформативное действие, в котором переплетены два омонимичных речевых акта. Эту интерпретацию, как и предыдущие, можно представить в виде ленты Мёбиуса, когда одно прочтение переходит в другое, создавая возможность их одновременной актуализации. Плакат сам создает свое *Мы* — это те, кто держит плакат; те, кто стоят за ними; те, кто читает этот плакат; те, кто не-ОМОН. Можно воспользоваться принятым в 2D-семантике разграничением между контекстом высказывания и его контентом или же между контекстом и индексом контекста (Lewis, 1981), то есть перейти от пропозиции, выраженной данным высказыванием в определенном контексте, к значению этого же высказывания в множестве других контекстов. Тогда конкретный минский контекст с его конкретными «мы» предстанет лишь как одна из возможных манифестаций контента.

## 7. Заключение: рекурсия как перпетуум мобиле

Придумавшие анализируемый нами слоган студенты-технари вряд ли намеревались дополнить наши представления о семантике языкового знака. Тем не менее они создали нечто, что не только не имеет удовлетворительного объяснения в семантических теориях естественного языка, но даже не отмечено в них. Это явление можно назвать семантической суперпозицией<sup>6</sup>, под которой мы понимаем наложение интерпретаций. Если понимать интерпретацию как возможное состояние семантики высказывания в момент ее описания, то каждому из этих описаний будет соответствовать то или иное состояние и наоборот. Что же касается самой системы, то ее можно представить как суперпозицию всех возможных описаний, которую она одновременно содержит до момента того или иного описания.

---

<sup>6</sup> В квантовой механике суперпозицией называется то новое квантовое состояние, которое получается в результате наложения теоретически возможных состояний микрочастиц до процесса измерения. Наиболее известным примером суперпозиции является так называемый *кот Шрёдингера*, это состояние кота до открытия ящика, когда находящийся в нем кот жив и мертв одновременно. Если развить эту аналогию применительно к *мы*, при одной интерпретации *мы* — две студентки БНТУ, при другой — квазиморфы слова *омон-и-мы*; семантической суперпозицией будет наложение всех этих интерпретаций — как описание той семиотической ситуации, которая имела место до интерпретации.



Есть ли смысл приписывать высказыванию выражение интенций, которые вряд ли входили в замысел их авторов? В данном случае скорее говорить об интенции высказывания порождать интерпретации, и интенции «реальных» говорящих есть лишь одна из них. Другой интерпретацией, потенциально содержащейся в плакате, например, явится наше описание, и тогда говорящим явится автор этой статьи, а его интенцией — экспликация металингвистических отношений, описываемых этим высказыванием. В зависимости от системы описания и наблюдения, с одной стороны, данное высказывание манифестирует лексикологическое отношение между означающими (омонимия) и означаемыми (антонимия), а с другой — это перформативный акт, поступок, предполагающий чуть ли не административную ответственность или, по крайней мере, исключение из университета. Но при этом знаки, пусть и выражая в том числе и политические взгляды говорящих, обозначают метаязыковые отношения. Они приобретают автономию от говорящих и манифестируют присущие данному языку семиотические отношения. Так, слово, обозначающее отношение омонимии, само используется как омоним, становясь проявлением того самого отношения, которое оно обозначает; и в этом случае совпадают член отношения и само отношение.

Если бы интенции говорящих исчерпывались выражением политической позиции, вполне достаточно было бы написать: «Мы не поддерживаем действия ОМОНа». Зачем же понадобилось усложнение, вследствие которого высказывание, хоть и не потеряло в доходчивости, но, видимо, стало менее эффективным, поскольку приобрело дополнительные смыслы, никак не связанные с целями демонстрантов и от политики неизбежно уводящую в лингвистику? Как и в случае поэтического текста, становится не столь важным, что хотел сказать автор, необходимо выявить, что говорит и что может сказать текст. Высказывание отрывается от породившего его контекста, который становится релевантным только при одной из интерпретаций, соотносящей его с Минском и БНТУ. Текст начинает жить самостоятельной жизнью, более того, из иллюстрации конфликта он сам становится моделью, порождающей конфликт, — конфликт интерпретаций. Как выясняется, внешнее подобие, омонимия, чревато антонимией. А *мы* — лишь конституент слова «омони**МЫ**», и это уже не мы, студенты, а личное местоимение «мы», которое может обозначать всякого, кто говорит «мы».

При описании подобной игры смыслов уместно упомянуть концепцию смысла Никласа Лумана, согласно которой смысл есть результат операций многократного вхождения формы в форму и осуществления внутри- и внесистемной референции<sup>7</sup>. (Под «формой» примени-

<sup>7</sup> Ср.: «Системы, использующие смысл, уже благодаря своему медиуму являются системами, которые могут описывать себя самих и свой внешний мир лишь в форме смысла, а это означает: они могут осуществлять наблюдения и описания посредством “повторного ввода” формы в форму... Системы, оперирующие в медиуме смысла, могут и даже должны различать само-референцию и ино-референцию; и они осуществляют это таким образом, в котором актуализация



тельно к данному случаю следует понимать не тот или иной знак, а само отношение между означающим и смыслом.) Рассмотренный нами пример подтверждает давно известное в поэтике положение о том, что семантика многомерна. Он же помогает пересмотреть принятый взгляд об отношении между контекстом и многозначностью.

Принято считать, что контекст первичен по отношению к высказыванию, и он определяет его семантику. Но этому не противоречит и то, что семантика высказывания содержится в нем как потенциальное значение или как условия возможности значения. При обычном понимании контекст выступает как цензор и редактор, блокирующий потенциальные значения и выбирающий «правильное». Такая ситуация характерна для коммуникации, где требуется однозначная, не допускающая альтернатив интерпретация. Но из приведенного выше уточнения контексту можно приписать функции соавтора — можно создать такой контекст, который допускает одновременную актуализацию различных интерпретаций. Тем самым возникает определенный баланс между контекстно-свободными и контекстно-зависимыми интерпретациями.

В данном случае плакат как инструмент политической борьбы вырван из этого контекста и перемещен в металингвистический. В этих условиях он, как и в случае поэтического высказывания, формирует свою самодостаточную семиотическую систему, элементы которой могут вступать в разнообразные отношения и определяться ими. Так, уже не требуется знать, где происходят события, кто «мы» и какой университет они представляют, какой ОМОН имеется в виду и почему — «ОМОН» определяется как как антоним к «Мы», как «не-Мы». Семантические отношения из отношений между студентами и полицией становятся отношениями между смыслами и знаками. Поэтому возникают новые интерпретации, определяемые уже не контекстом и намерениями участников, а внутрисистемными отношениями. Слова с противоположными значениями, окказиональные антонимы *ОМОН* и *Мы* связаны соединительным союзом, а конъюнкция этих знаков образует... омонимы, знак, который соотносим с различными, в данном случае противоположными, смыслами. Омониция возвращает семиотические отношения к антонимии, но уже в форме энантиосемии (антонимы, выражаемые посредством одного и того же означающего). Логика данного высказывания требует совершить еще один прыжок между языком-объектом и метаязыком, В реальном Минске омовцы и студенты противостоят друг другу, но событие их противостояния создало конъюнкцию — студенты и омовцы стали правым и левым компонентом одного и того же знака *омонимы*, а их противостояние квалифи-

---

само-референции всегда сопровождается и ино-референцией, и, одновременно, в ходе актуализации ино-референции непременно задается и само-референция как соответствующая ей другая сторона различия. Поэтому всякое формообразование в медиуме смысла должно осуществляться относительно системы, неважно, акцентуируется ли в данный момент само-референция или же ино-референция» (Луман, 2004, с. 51 — 52).



цируется как антонимия, то есть еще одно отношение между знаками. Эти знаки могут обрести свои референты уже в иных контекстах, и тогда лексико-семантические отношения омонимии и антонимии вновь трансформируются в отношения между противостоящими друг другу социальными группами. Вместе с тем постоянные переходы от знаков к значениям, от значений к знакам предполагают также переход от знаков к людям, которые, в силу тех же автореференциальных механизмов, вновь становятся знаками. Подключение отношений референции вовне, к другим возможным контекстам, приведет к тому, что и тогда операция по разложению означающего (*омонимы* – *ОМОН* и *мы*) породит иных контрагентов политического конфликта, но они все равно останутся объектом металингвистической рефлексии (представим этот плакат в любом из городов, где понимают русский язык и знают школьную грамматику). Как видим, перпетуум мобиле будет действовать и тогда, когда, выйдя за рамки внутрисистемной интерпретации, мы перейдем к референциальным аспектам высказывания. Люди (*омоновцы* и *мы*) превращаются в знаки и наоборот. Что касается самих студентов, то они, породив соответствующее высказывание, сами становятся его порождением, манифестируясь — посредством «*мы*» — в его компонентах. Возникает четырехуровневый знак «Антонимы», омонимичный исходному «антонимы», на последующих стадиях семиозиса вбирающий в себя как выражение «ОмонИмы», так и их референты (рис. 3):

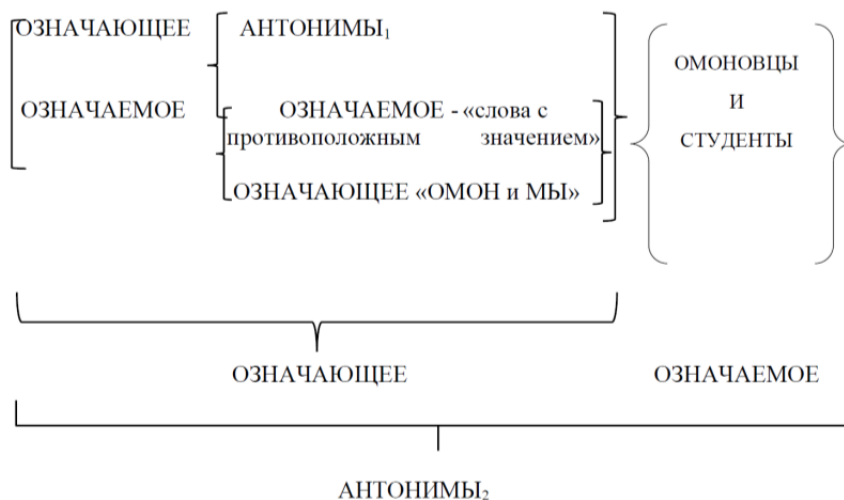


Рис. 3. Семиотическая структура знака «Антонимы»

Следует обратить внимание также и на то, что в силу омонимии все прочтения вращаются в кругу (и по кругу) между четырьмя знаками (*омон*, *омон и мы*, *омонимы*, *антонимы*), не порождая новых означаемых, а лишь перераспределяя отношения между ними. Этот круговорот помогает продемонстрировать самую суть отношения омонимии — как возможность неограниченной автореференции, демонстрации возможно-



сти выражения различных не связанных между собой значений посредством одного и того же знака. Означаеые становятся означающими, означающие — означаемыми, будучи опосредованными промежуточными ОМОНИМИЧНЫМИ или СИНОНИМИЧНЫМИ знаками (рис. 4):

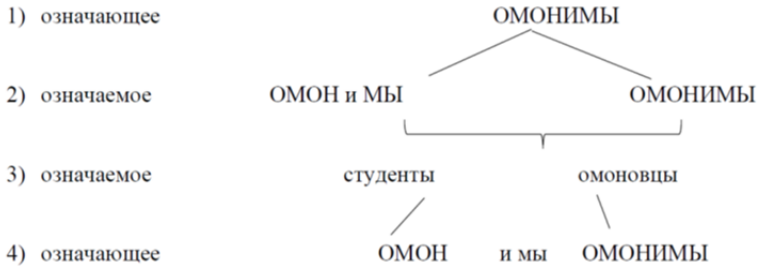


Рис. 4. Переход означаемого в означающее  
(на примере выражения «ОМОНИМЫ – ОМОН и МЫ»)

В целом, обобщая процесс динамического семиозиса, создания новых знаков, его можно представить как переход от одного знака к другому посредством сочетания тех же означаемых (синонимия) и означающих (омонимия), что можно считать развитием схемы Сергея Карцевского (2004) об основанном на синонимии и омонимии асимметричном дуализме языкового знака как механизме создания новых знаков (рис. 5):

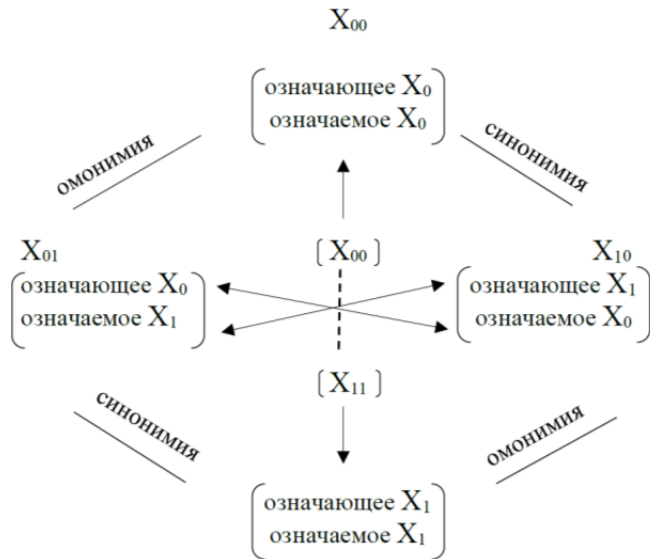


Рис. 5. Переход от знака  $X_{00}$  к знаку  $X_{11}$

Непрямые интерпретации (коннотативные и метаязыковые) приводят к референциальным (денотативным), которые, в свою очередь, вновь приводят к коннотативным и метаязыковым. Луи Ельмслев опи-



сывал коннотацию и метаязык как операции, обуславливающие иерархию семиотических уровней начиная с нулевого, где ни означаемое, ни означающее не являются знаками, вплоть до более высоких уровней, где означаемое или / и означающее являются знаками. Знак нижнего уровня становится вложенным в знак более высокого уровня. В рассматриваемом примере наличествуют подобные включения, но тем не менее иерархии между семиотиками различных уровней не возникает. Имеет место не надстраивание, а, скорее, кругооборот круг между прямыми и переносными значениями, или же метаязыковыми знаками. Процессинг тех или иных интерпретаций позволяет эксплицировать некоторые первичные семиотические отношения — омонимии, тождества означающих, полисемии (различия означаемых), антонимии и синонимии. Операция над означающим — разложение слова — приводит к трансформации означаемых, операции над означаемыми закрепляются в тех же знаках. Но внутри новообразованной системы знаки уже не изменяют свои смыслы. В качестве возможных причин подобной семантической стабилизации можно указать на то, что возникает отношение вторичного — по отношению к лексической системе русского языка — семиозиса, который характеризуется — а) референцией к первичной системе и принятой в ней интерпретацией используемых знаков; б) наличием некоторого аналога памяти — на каждом шагу операция основывается на результате предыдущей; 3) экспликации интерпретаций, то есть системы иноописаний, отличающих одно состояние системы от другого. В этом семантическом перпетуум мобиле ни одна интерпретация не достигает конечной точки покоя — как маятник, она скатывается к предшествующему состоянию, не порождая новых значений и знаков, но повторяя уже пройденный цикл. Каждая из взаимосуществующих интерпретаций возвращается к себе самой, демонстрируя — парадоксальным и тавтологичным образом лумановскую концепцию парадокса и тавтологии как двух единственно возможных состояний описывающей себя системы (Луман, 1991). Рассмотрение этого же процесса, но в перспективе, начиная с исходной точки в последовательности операций, выявляет тавтологичный (рекурсивный) и парадоксальный (инверсивный) характер самого механизма сигнификации.

*Исследование выполнено за счет проекта РНФ № 22-18-00591 «Прагмасемантика как интерфейс и операциональная система смыслообразования» в Балтийском федеральном университете им. И. Канта (Калининград, Россия).*

### Список литературы

- Барт Р. Миф сегодня // Избр. работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 72–130.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика / пер. с франц.; под ред., вступит. ст. и коммент. Ю. С. Степанова. М., 1974.
- Виноградов В. В. О художественной прозе. М.; Л., 1930.
- Ельмслев Л. Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. М., 1960. Вып. 1. С. 264–389.



Золян С. Т. «Двоемыслие» и семиотика политического дискурса // Полис. Политические исследования. 2018. №3. С. 93–109. <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.0>.

Карцевский С. И. Об асимметричном дуализме языкового знака // Карцевский С. И. Из лингвистического наследия. М., 2004. Т. 2. С. 239–245.

Курилович Е. Р. Заметки о значении слов // Вопросы языкознания. 1955. №3. С. 73–81.

Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.

Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества / пер. А. Ф. Филиппова // Социо-Логос. М., 1991. Вып. 1. С. 194–218.

Луман Н. Общество как социальная система / пер. с нем. А. Антоновского. М., 2004.

Мандельштам О. Э. О природе слова // Собр. соч. : в 4 т. М., 1999. Т. 1. С. 217–231.

Степанов, Ю. С. Язык и Метод. К современной философии языка. М., 1998.

Lewis D. Index, content and context // Philosophy and grammar / ed. by S. Kan-ger and S. Ohman. Dordrecht ; L., 1981. P. 79–100.

Hofstadter D. R. I Am a Strange Loop. N. Y., 2013.

Przetęcki M. On the meaning of indexicals // Studia Logica. 1983. Vol. 42. P. 285–291. <https://doi.org/10.1007/BF01063847>.

Tarski A. The semantic conception of truth // Philosophy and Phenomenological Research. 1944. Vol. 4, №3. P. 341–376.

### Об авторе

Сурен Тигранович Золян, доктор филологических наук, профессор, Россия; ведущий научный сотрудник, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия.

E-mail: surenzolyan@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-4422-5792

### Для цитирования:

Золян С. Т. Семиотический перпетуум мобиле в действии: ОМОН, омонимы и антонимы // Слово.ру: балтийский акцент. 2023. Т. 14, №1. С. 86–106. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-6.



ПРЕДСТАВЛЕНО ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

## THE SEMIOTIC PERPETUUM MOBILE IN ACTION: OMON, HOMONYMS AND ANTONYMS

S. T. Zolyan

Immanuel Kant Baltic Federal University  
14 A. Nevskogo St., Kaliningrad, 236016, Russia

Submitted on August 05, 2022

Accepted on November 15, 2022

doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-6

We address the interaction of various interpretations of lexical items, which leads to a change in the correlation between signifieds and signifiers and the formation of new signs. Addressing the polysemic slogan 'ОМОН-И-МЫ – АНТОНИМЫ', we explicate the





*mechanism of semiotic Perpetuum mobile, that is, the cyclic recursions that allow simultaneous actualization of various interpretations of this utterance. We demonstrate that the analysis of semantic relations in their dynamics requires the introduction of new theoretical concepts. The general principle of dynamic semiosis is demonstrated – that is the recursive relations when a signified of one sign through intermediate operations (homonymy and synonymy) becomes a signifier of another and vice versa. In this semantic Perpetuum mobile, no single interpretation reaches the final point. It goes back to the previous state without producing new meanings and signs but repeating the already passed cycle. Each of the co-existing interpretations returns to itself, demonstrating – in a paradoxical and tautological way – Luhman's concept of paradox and tautology as two only possible states of a self-describing system. The same process, but being considered from the starting point demonstrates the paradoxicality and tautology of the process of signification.*

**Keywords:** *dynamic semiosis, homonymy, antonymy, synonymy, recursion, polysemy*

*The research is supported by the Russian Science Foundation, project № 22-18-00591 “Pragmasemantics as an interface and operational system of meaning production” at the Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad.*

### References

- Barthes, R., 1994. Myth today. In: R. Barthes, ed. *Izbrannyye raboty: Semiotika. Poetika* [Selected Works: Semiotics. Poetics.]. Moscow, pp. 72–130 (in Russ.).
- Benveniste, É., 1974. *Obshchaya lingvistika* [General linguistics]. Translated by Yu. S. Stepanov. Moscow (in Russ.).
- Hjelmslev, L., 1960. Prolegomena to the Theory of Language. In: V. A. Zvegintsev, ed. *Novoe v lingvistike* [New in linguistics], 1. Moscow, pp. 264–389 (in Russ.).
- Hofstadter, D. R., 2013. *I Am a Strange Loop*. Basic Books, 412 p.
- Kartsevskii, S. I., 2004. On the asymmetric dualism of a linguistic sign. In: S. I. Kartsevskii, ed. *Iz lingvisticheskogo naslediya* [From the linguistic heritage], Vol. 2, Moscow, pp. 239–245 (in Russ.).
- Kurylowicz, E. R., 1955. Notes on the meaning of word. *Voprosy Jazykoznanija* [Topics in the study of language], 3, pp. 73–81 (in Russ.).
- Lewis, D., 1981. Index, content and context. In: S. Kanger and S. Ohman, eds. *Philosophy and grammar*. Dordrecht and London, pp. 79–100.
- Lotman, Yu. M., 1992. *Kul'tura i vzryv* [Culture and explosion]. Moscow (in Russ.).
- Luhmann, N., 1991. Tautology and paradox in the self-descriptions of modern society. *Socio-Logos*, 1. Moscow, pp. 194–218 (in Russ.).
- Luhmann, N., 2004. *Obshchestvo kak sotsial'naya sistema* [Society as a social system]. Translated by A. Antonovskii. Moscow, 232 p. (in Russ.).
- Mandelstam, O. E., 1999. *Sobranie sochinenii v 4 t. T. 1. Stikhi i proza, 1906–1921* [Collected works in 4 vols. Vol. 1. Poems and prose, 1906–1921]. Moscow, 370 p. (in Russ.).
- Przełęcki, M., 1983. On the meaning of indexicals. *Studia Logica*, 42, pp. 285–291, <https://doi.org/10.1007/BF01063847>.
- Stepanov, Yu. S., 1998. *Yazyk i Metod. K sovremennoi filosofii yazyka* [Language and Method. Towards the Modern Philosophy of Language]. Moscow, 784 p. (in Russ.).
- Tarski, A., 1944. The Semantic Conception of Truth, *Philosophy and Phenomenological Research*, 4 (3), pp. 341–376.
- Vinogradov, V. V., 1930. *O khudozhestvennoi proze* [On artistic prose]. Moscow and Leningrad (in Russ.).
- Zolyan, S. T., 2018. “Doublethink” and Semiotics Of Political Discourse. *Polis. Politicheskie issledovaniya* [Polis. Political Studies], 3, pp. 93–109, <https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.0> (in Russ.).



### The author

Dr Suren T. Zolyan, Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: surenzolyan@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-4422-5792

#### To cite this article:

Zolyan, S. T., 2023, The semiotic *perpetuum mobile* in action: OMON, homonyms and antonyms, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 14, no. 1, p. 86–106. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-6.



SUBMITTED FOR POSSIBLE OPEN ACCESS PUBLICATION UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION (CC BY) LICENSE ([HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/))

**УРОВНИ КОНТЕКСТА: КАК АНАЛИЗ ТЕКСТА  
СТАНОВИТСЯ АНАЛИЗОМ ДИСКУРСА?  
(на материале новых лайфстайл-медиа в сети Интернет)**

***Е. Н. Молодыхенко***

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Россия, 190121, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 16

Поступила в редакцию 20.05.2022 г.

Принята к публикации 15.11.2022 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-7

На современном этапе исследований так называемая «проблема дискурса» должна сводиться не к поиску правильной дефиниции данного феномена, а к (1) выявлению релевантных параметров / переменных контекста, (2) соотносению их с лингвистическими категориями и (3) определению способа операционализации первых в связи со вторыми в эмпирическом анализе. Такое положение вещей определяет двоякую цель данной статьи. В теоретическом плане цель состоит в представлении описания одной из возможных моделей контекста с ее обязательной привязкой к лингвистическим категориям и инструментам лингвистического анализа. Эта модель включает в себя пять «ярусов» контекстуальных переменных, а также два измерения, пересекающих все ярусы, – дискурс (в широком смысле – как речевая составляющая социальных практик) и коммуникантов (теоретизируемых в терминах когниции и набора семиотических ресурсов). Целью эмпирической части является применение (фрагментов) описанной модели к анализу конкретного текста / дискурсивного экземпляра. Материалом для анализа послужило видео на платформе YouTube в жанре «лайфстайл-инструкция». В качестве базовой (теоретико-)методологической основы анализ апеллирует к (1) категории включения / диалогичности (*engagement*), рассматриваемой в рамках системной функциональной лингвистики, и (2) представлению о конкретном тексте / дискурсивном экземпляре как гибриде разных жанровых и дискурсивных моделей, ассоциируемом с критическим дискурс-анализом. В рамках понимания дискурса как комплексного семиотического факта текст / дискурс видео анализируется в разрезе его функционирования на современной цифровой платформе YouTube. В результате исследования показано, что благодаря данной коммуникативной технологии, породившей новые схемы участия (*participation frameworks*) в коммуникативных событиях, к дискурсу (как комплексному семиотическому факту) следует относить не только речевую составляющую видео («текст») и сопутствующие модальности, но и порождаемый в форме комментариев дискурс прочих участников коммуникативного события (коллаборативный дискурс). В рамках тематического и институционального (дискурс как коррелят социальной практики), а также идеологического (дискурс «по Фуко») принципа дефиниции дискурса текст видео анализируется как актуализация хитросплетения различных социокультурных практик, предопределяющих содержание, вербальное оформление и потенциальную интерпретацию данного текста / дискурсивного экземпляра потенциальным реципиентом.

**Ключевые слова:** операционализация контекста, модель контекста, контекстуализация, дискурс-анализ, текст и дискурс, лайфстайл-медиа, лайфстайл-дискурс, дискурс консьюмеризма



## Введение

Сегодня вопросы, связанные с категорией «дискурс» или — если автор и вовсе не оперирует этим термином, что вполне допустимо / возможно — с анализом речевых произведений в их обусловленности экстралингвистическим контекстом, должны решаться путем *теоретизирования параметров / переменных контекста*, которые могут (или должны) быть операционализированы в таком исследовательском проекте, а также путем (дальнейшей) разработки и обоснования инструментария, которым лингвисты должны оперировать в рамках подобных проектов (Spitzmüller, Warnke, 2011; Чернявская, 2019; Нефедов, Чернявская, 2020).

В отечественной лингвистике базовое определение дискурса было популяризировано Н.Д. Арутюновой (Арутюнова, 1990) и В.Е. Чернявской, определившей дискурс как «текст в неразрывной связи с ситуативным контекстом» (Чернявская, 2003, с. 54). При таком понимании теоретически анализом дискурса является любой анализ речевого(-ых) произведения(-ий), в той или иной мере обращающийся к контексту. За простотой такого понимания, однако, стоит сложность, возникающая на этапе «параметризации речи» (Дементьев, 2010, с. 103 и сл.), теоретизирования, описания и, главное, эмпирического исследования этих параметров в привязке к определенным текстовым феноменам<sup>1</sup>.

Исходя из сказанного, целью статьи является представление более-менее целостной модели контекста и ее применение к анализу конкретного текста / дискурсивного экземпляра. Предлагаемый анализ призван (насколько это позволяет объем статьи) продемонстрировать «погруженность» конкретного текстового экземпляра в контекст различных уровней, то, какие понимания категории «дискурс» будут при этом преимущественно задействованы, и то, на какие инструменты анализа можно при этом полагаться.

### Уровни контекста: радиальная модель

То, где «начинается» контекст для дискурс-анализа, будет зависеть от выбора фокального события<sup>2</sup>. Если фокальным событием избирается только речевая составляющая более-менее завершеного и имеющего более-менее очерченные границы коммуникативного эпизода («текст» в некоторых трактовках), то ближайшим фоном следует считать коммуникативную технологию и сопутствующие речевому произведению семиотические модальности. Если фокальным событием выбирается дискурс как цельное коммуникативное событие со всеми релевантными модальностями его реализации, то ближайшим фоном будет являться физическая и социальная локация. Возможно, однако, и еще бо-

---

<sup>1</sup> Или, как это обычно бывает, наоборот — исследования текстовых феноменов в привязке к параметрам контекста.

<sup>2</sup> О разграничении фокального события и фона, а также об обоснованности использования такой терминологии см.: (Goodwin, Durantí, 1992).



лее узкое понимание фокального события как «мимолетной» фазы разворачивающейся «здесь и сейчас» коммуникации (Silverstein, 1992; 1993). По отношению к такому фокальному событию ближайшим фоном будет любой сегмент — вплоть до непосредственно предшествующего и непосредственно следующего за ним — того же коммуникативного события. Приведем далее релевантное в нашем представлении членение контекстуального континуума в порядке радиального расширения от минимального фокального события до контекста всей культуры; см. также: (Auer, 2009; van Dijk, 1997; Goodwin, Duranti, 1992; Чернявская, Нефедов, 2020).

В качестве первого измерения контекста будем рассматривать коммуникативную технологию, ко-текст и модальности, сопутствующие «чистой» речевой составляющей. Данное измерение является лишь искусственно отделимым от самого речевого произведения: описанные компоненты составляют «ткань» коммуникативного эпизода и образуют в совокупности то, что можно было бы назвать дискурсом в одном из его пониманий как *целостного семиотического факта* (Blommaert, 2005, p. 3; 2015). Исследования, в той или иной мере обращающиеся к этому измерению, образуют достаточно большой и разнообразный пул, включающий (но не ограничивающийся таковыми) исследования связности текста (de Beaugrande, Dressler, 1981; Halliday, Matthiessen, 2004, p. 524—585; Martin, Rose, 2007), макроструктур (van Dijk, 1980), сопутствующих модальностей (Hodge, Kress, 1988; Martin, Rose, 2007, p. 321—330), смены коммуникативных ролей (Beattie, Ellis, 2017; Martin, Rose, 2007, p. 219—254; Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974), контекстуализирующих сигналов (Auer, 1992) и семантики жестов (Kok et al., 2016).

Второе измерение определим как *физическую локализацию* дискурса. Сюда следует отнести пространственно-временную «заякоренность» текста, определяющую семантику дейктических элементов («референциальных индексов») (см.: Levinson, 1983; Silverstein, 1976; Verschueren, 1999, p. 18—22; 2000), и релевантные элементы физического контекста, не включенные нами в первый ярус. К таковым можно отнести физические параметры места (например, слышимость, присутствие посторонних, присутствие шума) и используемые инструменты и ресурсы реализации речевой активности и / или активности, сопутствующей речевой, влияющие на реализацию коммуникации (Scollon, Scollon, 2004, p. 3—4).

К третьему измерению отнесем *социальную локализацию* дискурса. Очевидно, что большая часть интеракций с использованием языка представляет собой коммуникативное событие определенного типа с регламентированными субъектными позициями для коммуникантов (Fairclough 1992, p. 126; Verschueren, 1999, p. 76—87). Наиболее релевантной лингвистической категорией, операционализирующей данное измерение контекста, конечно же, является жанр (Devitt, 2009; Giltrow, 2010; Rose, 2012; Swales, 1990; Дементьев, 2010) и в какой-то мере (функциональный) стиль / регистр (например, по линии формальности / неформальности).

К четвертому измерению отнесем контекст *профессиональной и / или социальной практики определенного типа*. К категориям лингвистиче-



ского анализа, апеллирующим к этому измерению, снова можно отнести жанр, особенно в исследованиях, акцентирующих его привязку к определенной профессиональной практике (Bhatia, 1993; 2015) и / или дискурсивному сообществу (Askehave, Swales, 2001), регистр (Biber, Conrad, 2012) и в некоторой мере (функциональный) стиль. Этот же ярус контекста операционализируется в различных версиях дискурс-анализа, где под дискурсом понимается языковой коррелят некоторой (условно) простой социальной / профессиональной практики (см. обсуждение ниже).

К пятому ярусу отнесем *сложные конфигурации социальных практик* в рамках «социальных полей» (Chouliaraki, Fairclough, 1999, p. 99–106, 114) с их взаимным (идеологическим) влиянием и наиболее абстрактные *социальные структуры*, вроде отмечаемых Н. Фэрклафом экономической структуры, социоэкономического класса и системы родственных связей (Fairclough, 2003, p. 23). Такой ракурс рассмотрения дискурса характерен в первую очередь для работ в рамках критического дискурс-анализа (КДА). Этот же уровень контекста может быть релевантным контекстом интерпретации и в современной социолингвистике и лингвистической антропологии (Blommaert, 2005; Coupland, 2007; Silverstein, 1992). С другой стороны, операционализация такого широкого социального контекста, конечно же, использовалась и до появления КДА. Как известно, функциональные стили, описанные в отечественной стилистике (Кожина, 2002), апеллируют к формам общественного сознания, которые также следует расположить на данном уровне.

Один из вариантов теоретизирования такого инвентаря – представление последнего в терминах идентичности (отсюда «более-менее» в предыдущем предложении, см.: Jenkins, 2004). При этом здесь же следует заметить, что семиотическими ресурсами проекции идентичности (целенаправленно или нет) будут не только собственно языковые ресурсы, но и все прочие атрибуты внешнего вида и поведения, могущие стать социальными индексами (Eckert, 2008; Jaffe, 2016). Совокупность таких ресурсов, позиционирующая индивида в акте коммуникации определенным образом, соответственно, может быть важной переменной контекстуализации непосредственного содержания речевого произведения и, в частности, предопределения его «перлокутивного эффекта». Опираясь здесь больше на распространенное бытовое наблюдение, нежели на теорию и эмпирическую проверку, отметим, что смысл дискурса и его эффект часто будут зависеть не от его содержательно-тематического и лексико-грамматического аспектов, а от того, *кто* его продуцирует.

### Коммуниканты и дискурсы

В качестве переменных контекста можно также рассматривать коммуникантов и собственно дискурс (как речевую составляющую социальных практик вообще; см. ниже). Две данные переменные мы предлагаем аналитически отделить от описанных уровней и анализировать как находящиеся в отдельных плоскостях, пересекающих все представленные выше ярусы.



Когниция коммуникантов<sup>3</sup> имеет решающее значение в любом акте коммуникации: можно даже сказать, что описанные выше параметры контекста становятся релевантными для / в коммуникации постольку, поскольку они представлены в «головах» коммуникантов (van Dijk, 1997; Verschueren, 1999, p. 109). Когнитивный характер, как известно, имеет и *одна из переменных* контекста, традиционно популярная в некоторых прагматически ориентированных подходах, а именно — коммуникативные интенции говорящего.

Точно так же дискурс «пронизывает» все описанные уровни контекста во всевозможных смыслах. Фокальное событие, в какие бы рамки оно ни помещалось, является фрагментом цепочки коммуникативных событий разного масштаба и разной удаленности от него. Такая цепочка может иметь различную длину (или, точнее, быть аналитически представлена как имеющая некоторую длину) от непосредственного контекста и соседних реплик диалога до отдельных коммуникативных событий, разделенных временем, а в современном мире и пространством, но образующих единую дискурсивную цепочку по какому-то параметру<sup>4</sup>.

Одной из наиболее значимых аналитических традиций в этом измерении будет исследование интертекстуальности. Интертекстуальность как операционализация дискурсивного измерения контекста актуальна во всех своих проявлениях — как маркированная и (тексто)типологическая, так и понимаемая как абстрактная диалогичность в духе М. М. Бахтина и Ю. Кристевой. Естественно, интертекстуальность особенно в последнем ее понимании аналитически релевантна настолько, насколько она может быть операционализирована в конкретном анализе. Примером теоретического осмысления диалогичности как ретроспективной и проспективной открытости текста в терминах *конкретных* лексико-грамматических средств является разработанная Дж. Мартином и П. Уайтом функциональная текстовая категория «включение» (engagement) (Martin, White, 2005, p. 92–135).

В исследованиях, претендующих на принадлежность к (критической) дискурс-аналитической традиции, один из релевантных контекстов для локализации дискурсивного экземпляра — это дискурс в двух специфических значениях. Такой экземпляр в них рассматривается как реализация (или «апелляция к» в терминах иной аналогии) «надындивидуальной коммуникативно-речевой практики» (Чернявская, 2009, с. 174). Такие надындивидуальные практики фактически являются речевыми коррелятами практик, описанных нами как четвертый и пятый ярус контекста. В первом случае социальная практика *рассматривается* как *условно простая формация* без внутренних (идеологических) конфликтов, а в исследовательский фокус попадает использование языко-

<sup>3</sup> Каким бы образом она ни была аналитически смоделирована — в форме фреймов, сценариев, концептов, эпизодических моделей, моделей контекстов, убеждений, ценностей, установок, мотивов.

<sup>4</sup> См. совершенно разные по сути исследования, тем не менее иллюстрирующие эту идею: (Du Bois, 2014; Wortham, 2004).



вых средств, свойственное для данной практики<sup>5</sup>. Во втором речь идет о сложных конфигурациях социальных практик, каждая из которых в дискурсивном измерении представлена своим специфическим дискурсом, отражающим определенное видение мира субъектов данной практики. Когда гибридизация и / или конфликт таких репрезентаций в пределах сложной конфигурации становится объектом дискурс-анализа, дискурс как категория становится «дискурсом по Фуко». Иными словами, в первом случае акцентируется институциональный и / или тематический принцип, во втором — идеологический. Отсюда исследования политического дискурса, медицинского, научного, рекламного, театрального и т. п. в первом случае, а также неолиберального дискурса, дискурса феминизма, дискурса расизма и т. п. во втором.

### Материал и анализ

Основным материалом для анализа послужило видео на одном из самых популярных каналов YouTube в рассматриваемом сегменте — alpha m<sup>6</sup>. Количество подписчиков канала на момент написания данного фрагмента статьи насчитывает более 5 млн человек. Канал принадлежит «лайфстайл-гуру» Арону Марино. Название видео — “7 Ways to Make A Girl MISS YOU!”<sup>7</sup> Видео является последним опубликованным на канале на момент написания данного фрагмента статьи. Выбор диапазона для первичного отбора материала, таким образом, предопределен *критерием репрезентативности* самого канала, то есть его популярностью в обсуждаемом сегменте. Выбор же самого текста является *случайным*.

В качестве общей лингвистической (теоретико-)методологической рамки мы апеллируем к модели включения / диалогичности (engagement) Дж. Мартина и П. Уайта (Martin, White, 2005), в свою очередь опирающейся на системную функциональную лингвистику М. Хэллидея (Halliday, Matthiessen, 2004). В остальном анализ можно было бы охарактеризовать как качественный контент-анализ с преимущественным акцентированием контекстуально обусловленной семантики языковых единиц и / или используемых грамматических конструкций, как это принято в лингвистических работах и особенно в текстоориентированном дискурс-анализе (Fairclough, 2003).

### Профессиональная практика лайфстайл-медиа. Результирующий комплексный дискурс

Первой важной для логики анализа переменной контекста выбранного видео и всего диапазона (то есть канала YouTube) является локализация этих феноменов в рамках практики лайфстайл-медиа. К лайф-

<sup>5</sup> Это вовсе не означает, что сама по себе практика является простой и не содержит в себе идеологических конфликтов.

<sup>6</sup> URL: <https://www.youtube.com/user/AlphaMconsulting/videos>

<sup>7</sup> URL: <https://www.youtube.com/watch?v=XSLpsdzKkJc&t=160s>





стайл-медиа вслед за редакторами двух ключевых монографий по данной теме будем относить любые медиа, посвященные обсуждению таких тем, как стиль, мода, одежда; уход за собой / груминг; декорирование жилища, обустройство интерьера и экстерьера; способы проведения свободного времени / досуга; приготовление и употребление еды, диеты; путешествия и туризм; романтические отношения и свидания (Bell, Hollows, 2005, p. 9–10).

Современные варианты реализации практики лайфстайл-журнализма во многом опираются и зависимы от таких платформ, как YouTube. Новые веб-платформы и их функционал изменили схему участия (participatory framework) как автора, так и аудитории в опосредованном коммуникативном событии (Boyd, 2014; Lehti et al., 2016; Szabla, Blommaert, 2018). В первую очередь это касается стандартной функции многих платформ — возможности публикации комментариев и ответов на комментарии, опубликованные другими пользователями. Данные изменения по-новому ставят вопрос о том, *что* фактически следует считать минимально завершенным дискурсом и *где* «искать» его смысл.

Если фокальным событием является речевая составляющая данного видеоролика, то в качестве ближайшего контекста, релевантного для интерпретации его смысла или, по Бломмарту, «эффекта» (Blommaert, 2015), следует указать следующие компоненты. Во-первых, сопутствующие модальности и коммуникативную технологию, позволяющие оформить данную речевую составляющую («текст») в форме видео. Благодаря этому, в частности, появляется возможность передать все паралингвистические сигналы, отсекаемые при обращении к транскрипту или в случае, если бы данный дискурс был реализован в формате статьи. Комбинацию речевой составляющей с этими элементами фона далее будем называть «исходным дискурсом». Во-вторых, «сопроводительный дискурс», размещенный под видео в форме текста в письменном модусе. Данный дискурс включает два основных блока — коммерческий блок (ссылка на продвигаемый продукт, интегрированный в видео, на сайт автора и на продукты его брендов) и краткое содержание видео. Краткое содержание включает авторскую аннотацию видео и пронумерованный список отдельных советов, обсуждаемых в видео. В-третьих, комментарии пользователей или «коллаборативный дискурс». Мы утверждаем, что как сопроводительный дискурс, так и комментарии (по крайней мере те, которые попадают в топ; см. ниже) являются как минимум одной из важных *переменных* локализации и контекстуализации таких видео, а как максимум должны рассматриваться в качестве *неотъемлемого компонента* исходного дискурса.

При всей текучести, которую современные жанры приобрели благодаря миграции в Интернет (Andersen, van Leeuwen, 2017; Askehave, Nielsen, 2005; Devitt, 2009; Genres in the Internet, 2009), тексты видео подобного типа в пределах последних трех-пяти лет характеризуются феноменальной унификацией жанровой формы. Такую форму они делят с аналогичными по содержанию текстами статей на сайтах онлайн-журналов и даже их предтечами — традиционными печатными версиями (Machin, van Leeuwen, 2007, p. 116 ff.). С точки зрения композиции тек-



сты жанра характеризуются наличием вступления и нескольких пронумерованных фрагментов (как правило, от 5 до 10), оформляющих отдельные советы как микротексты; см.: (Дементьев, 2020). Помимо непосредственной адвизивной, или *инструктирующей*, составляющей в текстах фигурируют и *мотивационные* компоненты различной природы («зачем это делать?», «почему правильно делать именно так?» и т.п.). Мотивационный коммуникативный ход может содержаться в каждом из микротекстов в форме максимы (Machin, van Leeuwen, 2007), на которой базируется данный совет, или какого-то иного обоснования целесообразности предлагаемого действия, а также во вступлении, в качестве мотивационной макропропозиции всего текста. Ср. текст вступления данного видео<sup>8</sup>:

(1) What's up gentlemen? So, the truth is that breakups suck. But they really suck when you don't want it, but the person that you're dating feels that they don't wanna be with you anymore, and so they end it. <...> But does this mean that it's totally over? Most of the time, the answer is yes, but sometimes the answer is no, and today we are going to find out if the old spicy seniorita pants still wants a piece of that (показывает указательными пальцами на предполагаемого зрителя, контекстуализируя таким образом референциальный индекс that. — E.M.).

Как видно из примера, вступление «погружает» реципиента в релевантный хронотоп — «расторжение отношений в одностороннем порядке» (*breakups suck; you don't want it, but the person that you're dating feels that they don't wanna be with you anymore, and so they end it*); задает тональность негативной оценки данного события (*breakups suck; they really suck*) и формулирует общий мотивационный фрейм прочтения приводимых далее советов: все меры, направленные на преобразование себя к лучшему, потенциально нацелены на возобновление отношений (*we are going to find out if the old spicy seniorita pants still wants a piece of that*).

Анализ текста в терминах включения / диалогичности позволяет определить общий тон его «безапеллятивности», то, какой тип адресата формулируется как предполагаемый (например, «солидарный» или «резистентный»; см.: (Talbot, 2007, p. 44)), и то, какие представления и ценности проецируются на этого адресата (Martin, White, 2005, p. 92 ff.). С точки зрения включения данный фрагмент реализован в типичном для жанра ключе: убеждения в том числе ценностного характера формулируются как однозначные: используются категоричные прямые утверждения, вроде *breakups suck* (вместо, скажем, *breakups may suck* или *breakups sometimes suck* и / или вместо вариантов с менее эмотивными оценочными единицами, чем глагол *suck*). Вопросительное предложение *but does this mean that it's totally over* моделирует по крайней мере фракцию аудитории, имеющую сомнения насчет окончательности разрыва отношений и потенциально задающую такой вопрос; предложение *we are going to find out if the... seniorita... still wants a piece of that* имплицитно, что по крайней мере фракция аудитории имеет интенцию по-

<sup>8</sup> Здесь и далее транскрипция наша.



пытаться восстановить отношения. Текст, таким образом, моделирует солидарного адресата, разделяющего и / или готового присоединиться к формулируемой (аксиологической) позиции в том числе и к мотивационной макропозиции.

Однако обращение к комментариям демонстрирует, что такого присоединения фактически не происходит. Ср. два самых популярных комментария на момент изучения данного дискурса:

(2) Dating your ex again is the equivalent of failing a test you already had the answers to

(3) Focus on self-improvement guys! STOP giving women validation!!<sup>9</sup>

Изучение прочих комментариев демонстрирует наличие значительного количества микротекстов, транслирующих аналогичный лейтмотив:

(4) At the end of the day, you split up for a reason. Usually it's an issue that you can't change. Just move on

Указанные примеры являются утверждениями с, так сказать, транситуативной применимостью. К лингвистическим индикаторам такого режима относится употребление абсолютного настоящего (*dating your ex again is the equivalent, it's an issue that you can't change*), недействительного *you* (*failing a test you already had the answers to*) и императивов в сочетании с недействительным *you* в пределах одного микротекста (см. пример 4) или обращением, выраженным существительным во множественном числе (пример 3). Иными словами, комментарии соответствуют транситуативной калибровке текста видео (и текстов в этом жанре в целом) и благодаря этому органично дополняют его. Этот факт можно рассматривать как одну из причин, почему комментарии следует включать в единый с ним «результатирующий комплексный дискурс».

Вторая причина связана с техническим функционалом платформы YouTube. Как известно, часть комментариев поднимается алгоритмами платформы YouTube наверх, в так называемый топ. Такие комментарии с большой вероятностью просматриваются значительным количеством участников коммуникативного события. Во-первых, они находятся непосредственно под видео и вряд ли не обращают на себя внимание. Во-вторых, подтверждением факта взаимодействия пользователей с данными комментариями является и выставление лайков. Лайки (точнее их количество, как правило, коррелирующее с «топовостью») свидетельствуют в пользу того, что содержание комментария не только было замечено, но и в пользу того, что реципиент присоединяется к озвученной (аксиологической) позиции.

Таким образом, мы утверждаем, что данные комментарии становятся важной надстройкой над исходным дискурсом и его комбинацию с этими комментариями — результирующий комплексный дискурс —

<sup>9</sup> Здесь и далее комментарии представлены с сохранением авторской орфографии; пунктуация в некоторых случаях незначительно скорректирована.



следует рассматривать как минимальную потенциальную единицу извлечения смысла предполагаемым реципиентом и минимальную дискурсивную единицу анализа смысла.

Дополняя или корректируя какой-либо из содержательных компонентов, комментарии создают дополнительный фрейм интерпретации вокруг исходного текста. В данном примере комментарии не оспаривают релевантность инструктирующей макропропозиции и основного содержания видео вообще (советов по «преобразованию себя к лучшему», предлагаемых автором исходного видео; ср. пример 3: *focus on self-improvement guys*), но предлагают иную мотивацию для этих мер (*stop giving women validation* — то есть мотивация по принципу «преобразование себя для себя, а не для женщин/ы»). При этом при условно постоянном исходном дискурсе секция комментариев со временем прирастает новыми микротекстами, которые могут в том числе менять содержание топа, формируя новый результирующий дискурс.

Естественно, такой вариант коллаборации является лишь одним из возможных в плане присоединения к аксиологической позиции и вычленения конкретных тем для их развития в комментариях. Так, например, во многих комментариях формулируется этот же лейтмотив, но в режиме персонального нарратива; ср.:

(5) To get **my** ex back? Nah, I pass

(6) But why would **I** want **that** crazy azz back in **my** life?

(7) OH NO!! I don't want **that** oversensitive girl in **my** life AGAIN! I'm so much happier without **her**

Еще одним интересным вариантом релевантной коллаборации служит добавление к инструктирующей части дискурса (в режиме транзитивной применимости); ср.:

(8) Actually u forgot the most important tips — focus on yourself **go to the gym turn the beast mode ON**, be the better version of yourself every morning when u get up and look yourself in the mirror. **Make money work hard gain knowledge and cash.**

### Прочие релевантные контексты.

#### Текст как дискурсивный гибрид

Анализ в данном разделе преимущественно сосредоточен на переменных, выделенных в рамках четвертого и пятого измерений контекста, то есть в терминах социальных практик и коррелирующих с ними дискурсов.

Лайфстайл-медиа и саму социальную форму «лайфстайл» чаще всего связывают с явлением консьюмеризма и представлением об «освобожденных постмодерном» идентичностях (Chaney, 1996; Featherstone, 1987; Giddens, 1991). Таким образом, дискурс консьюмеризма (ДК) можно определить как один из метадискурсов, «пронизывающих» исследуемый текст и предопределяющих все остальные возможные дискурсы. Базовую пресуппозицию ДК можно выразить как представление о воз-



возможности/необходимости/неотвратимости конструирования идентичности посредством реализации коммодифицированных практик и приобретения товаров.

Для навигации по микротекстам в составе текста приведем здесь список советов, сформулированный автором видео в сопроводительном дискурсе:

(9) 1. Stop calling & texting her as well as stalking her on social media – allow for space and privacy so she may allow for a 2nd chance. 2. Stop drinking and/or smoking pot – if you're sad & emotional, for 30-days focus on yourself instead. 3. Channel the pain and hurt into yourself – worry about you and do things to be a better dude. 4. Find new hobbies, make new friends, and connect with old friends – be with people you love and do new things. 5. Give yourself an Alpha M makeover and post pictures – reinvent yourself and feel incredible about who you are. Get a haircut, buy some new clothes (grab a stylish friend), take pictures of yourself and post on social media. 6. Deal with your issues – take care of your emotional issues with counseling or therapy so you'll be right for someone. 7. Start to date – this doesn't mean to sleep around! Be social and get back out there to see that others find you attractive.

В наиболее прозрачной форме ДК фигурирует в микротексте номер 5, например, во фрагменте *reinvent yourself and feel incredible about who you are* → *get a haircut, buy some new clothes*, где второе предложение связано (бессоюзной связью) с первым отношениями распространения/уточнения (*elaboration*), а предикации *get a haircut* и *buy some new clothes* являются гипонимами по отношению к *reinvent yourself*.

Аналогичные лейтмотивы и семантические связи реализуются и в самом тексте видео, ср.:

(10) ...go get a new fresh cut because everybody feels better about themselves after a haircut.

Императив *go get a new fresh cut* связан причинно-следственной связью с предикацией *everybody feels better about themselves after a haircut*, формулирующей мотивационную максиму (см. выше).

Как амальгамированный с ДК, но все же аналитически отделимый от него, можно указать «дискурс целенаправленного самопреобразования». Базируясь опять же на идее освобожденных постмодерном идентичностей, такой дискурс в качестве пресуппозиции имеет представление о возможности/необходимости постоянного целенаправленного преобразования себя (Giddens, 1991). Квинтэссенцией актуализации такого представления являются дискурсы, часто именуемые «селф-хелп» (Currell, 2006). Такой дискурс, как уже могло стать понятно из приведенных примеров, также пронизывает исследуемый текст, в том числе формирует и инструктирующую макропропозицию. Ср. фрагмент авторской аннотации (часть сопроводительного дискурса):

(11) If you **work on you and create on the man** she fell in love with, she may fall back in love with you.



В плане эксклюзивной апелляции к такому дискурсу наиболее иллюстративными являются пункты номер 3 и 6 в тексте видео:

(12) (пункт 3; фрагмент текста видео) <...> you need to **focus on yourself** which is number three. You (неразборчиво. – E.M.) take all that pain all that hurt and **channel it into yourself!** You've gotta **make you a priority** and do things that are going to **benefit you** and **make you a better person**.

Точно так же, как и в примерах выше, макропропозиция данного фрагмента *you need to focus on yourself* связана отношениями распространения/уточнения (*elaboration*) с последующими предложениями, а *focus on yourself* выступает гиперонимом по отношению к *take all that pain <...> and channel it into yourself; make you a priority* и *do things that are going to benefit you*.

Если рассмотреть текст видео в тематической дискурсивной разбивке или – в данном случае – с точки зрения конкретных регламентируемых (каждодневных) практик, то следует указать, что он апеллирует к таким типичным для лайфстайл-медиа дискурсам, как:

- мода/стиль (в первую очередь пункт номер 5; *buy some new clothes; grab a stylish friend*);
- груминг/уход за собой (большая часть пункта номер 5, который одновременно является интеграцией рекламы системы ухода за мужской кожей Tiegе Hanley, см. ниже);
- взаимоотношения с противоположным полом/свидания (мотивационная макропропозиция всего видео, пункт 7 и отчасти пункт номер 1, например: *texting her, stalking her, date; sleep around; social; find you attractive* и т. д.)<sup>10</sup>.

Одним из типичных дискурсов в сфере лайфстайл является также «дискурс фитнеса и физического преобразования тела»<sup>11</sup>, популяризацию которого также часто связывают с культурой потребления (Baudrillard, 1998). Из представленного списка микротекстов, однако, видно, что данный дискурс не актуализируется в видео. Как уже было продемонстрировано выше, этот «недочет» исправляется одним из комментаторов в коллаборативном дискурсе (см. пример 8 выше: *go to the gym turn the beast mode ON*).

## Заключение

Представленный анализ и рассуждения позволяют вернуться к обозначенной во вступлении проблеме – к каким переменным контекста можно (или должно) обращаться, если исследователь позиционирует исследование текста как дискурс-анализ, и как современные онлайн-дискурсы по-новому акцентируют ответы на этот вопрос.

<sup>10</sup> См./ср. апелляцию к аналогичным дискурсам в тематической разбивке высшего уровня (навигация вверх страницы) на одном из самых старых онлайн-ресурсов для мужчин AskMen.com (<https://uk.askmen.com/>).

<sup>11</sup> См. опять же тематическую разбивку на AskMen.com.



Первый раздел эмпирической части преимущественно апеллирует к представлению о дискурсе как о сложном семиотическом факте (текст, коммуникативная технология и сопутствующие модальности) и как тексте, вписанном в процессы взаимодействия автора и потенциальных реципиентов. В случае с современными медиадискурсами в качестве минимальной дискурсивной единицы имеет смысл рассматривать то, что мы назвали результирующим комплексным дискурсом. Такой дискурс представляет собой комбинацию как минимум двух элементов — исходного дискурса и коллаборативного. Взгляд на коллаборативный дискурс акцентирует идею о том, что смысл дискурса не заключен в исходном тексте, но конструируется во взаимодействии с аудиторией (Talbot, 2007, p. 13).

Акцент на понимании дискурса как надындивидуальной коммуникативно-речевой практики направляет исследование в русло анализа дискурсивной гибридности конкретных текстов и описания возможных локализаций в контексте. Исследуемый текст, а также многие другие тексты на данном канале и других каналах этого сегмента медиа могут быть проанализированы как апеллирующие к нескольким более-менее дискретным дискурсам, связанным с культурой потребления, стилизацией жизни и освобожденными идентичностями — социальными явлениями, описанными в работах социокультурной направленности.

#### Список литературы

- Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 136–137.
- Дементьев В.В. Теория речевых жанров. М., 2010.
- Дементьев В.В. Заголовки с цифрами в интернет-медиа: лингвистические и прагматические характеристики // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2020. №63. С. 5–27.
- Кожина М.Н. Речеведение и функциональная стилистика: вопросы теории. Избранные труды. Пермь, 2002.
- Нефедов С.Т., Чернявская В.Е. Контекст в лингвистическом анализе: прагматическая и дискурсивно-аналитическая перспектива // Вестник Томского государственного университета. Сер.: Филология. 2020. №63. С. 83–97.
- Чернявская В.Е. Дискурс // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожинной. М., 2003. С. 53–55.
- Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М., 2009.
- Чернявская В.Е. Корпусно-ориентированный дискурсивный анализ идентичности российского университета 3.0 // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. №58. С. 97–114.
- Andersen T.H., Leeuwen T.J. van. Genre crash: The case of online shopping // Discourse, Context & Media. 2017. Vol. 20. P. 191–203.
- Askehave I., Nielsen A.E. Digital genres: A challenge to traditional genre theory // Information Technology and People. 2005. Vol. 18, №2. P. 120–141.
- Askehave I., Swales J. M. Genre identification and communicative purpose: a problem and a possible solution // Applied Linguistics. 2001. Vol. 22, №2. P. 195–212.
- Auer P. Introduction: John Gumperz' Approach to Contextualization // The Contextualization of Language. Amsterdam, 1992. P. 1–37.



- Auer P. Context and contextualization // Handbook of Pragmatics. Amsterdam, 2009. P. 86–101.
- Beattie G., Ellis A. Conversational Structure // The Psychology of Language and Communication. L., 2018. P. 138–156. <https://doi.org/10.4324/9781315187198>.
- Baugrande R.-A. de, Dressler W. U. Introduction to text linguistics. L. ; N. Y., 1981.
- Bell D., Hollows J. Making sense of ordinary lifestyles // Ordinary Lifestyles: Popular Media, Consumption and Taste / ed. by D. Bell, J. Hollows. Maidenhead, 2005. P. 1–18.
- Bhatia V. K. Analysing Genre: Language Use in Professional Settings. L. ; N. Y., 1993.
- Bhatia V. K. Critical Genre Analysis: Theoretical Preliminaries // Hermes: Journal of Language and Communication in Business. 2015. Vol. 27, №54. P. 9–20.
- Biber D., Conrad S. Register, Genre, and Style. N. Y., 2012.
- Blommaert J. Discourse: A Critical Introduction. Cambridge, 2005.
- Blommaert J. Meaning as a nonlinear effect: The birth of cool // AILA Review. 2015. Vol. 28. P. 7–27.
- Bois J. W. du. Towards a dialogic syntax // Cognitive Linguistics. 2014. Vol. 25, №3. P. 359–410.
- Boyd M. S. (New) participatory framework on YouTube? Commenter interaction in US political speeches // Journal of Pragmatics. 2014. Vol. 72. P. 46–58.
- Chouliaraki L., Fairclough N. Discourse in late modernity: rethinking critical discourse analysis. Edinburgh, 1999.
- Coupland N. Style: Language variation and identity. Cambridge, 2007.
- Devitt A. J. Re-fusing form in genre study // Genres in the Internet: Issues in the Theory of Genre / ed. by J. Giltrow, D. Stein. Amsterdam ; Philadelphia, 2009. P. 27–48.
- Dijk T. A. van. Macrostructures: An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction, and Cognition. Hillsdale, 1980.
- Dijk T. A. van. Cognitive Context Models and Discourse // Language Structure, Discourse and the Access to Consciousness / ed. by M. I. Stamenov. Amsterdam ; Philadelphia, 1997. P. 189–226.
- Eckert P. Variation and the indexical field // Journal of Sociolinguistics. 2008. Vol. 12, №4. P. 453–476.
- Fairclough N. Discourse and Social Change. Cambridge, 1992.
- Fairclough N. Analysing discourse: Textual analysis for social research. L. ; N. Y., 2003.
- Genres in the Internet: Issues in the Theory of Genre / ed. by J. Giltrow, D. Stein. Amsterdam ; Philadelphia, 2009.
- Giltrow J. Genre and difference: The sociality of linguistic variation // Syntactic Variation and Genre / ed. by H. Dorgeloh, A. Wanner. Berlin ; N. Y., 2010. P. 1–26.
- Goodwin C., Duranti A. Rethinking context: an introduction // Rethinking Context / ed. by A. Duranti, C. Goodwin. Cambridge, 1992. P. 1–42.
- Halliday M. A. K., Matthiessen C. M. I. M. An introduction to functional grammar. L., 2004.
- Hodge R., Kress G. Social Semiotics. Ithaca, 1988.
- Jaffe A. Indexicality, stance and fields in sociolinguistics // Sociolinguistics: Theoretical Debates / ed. by N. Coupland. Cambridge, 2016. P. 86–112.
- Jenkins R. Social Identity. L. ; N. Y., 2004.
- Kok K. et al. Mapping out the multifunctionality of speakers' gestures // Gesture. 2016. Vol. 15, №1. P. 37–59.
- Lehti L. et al. Linguistic analysis of online conflicts: A case study of flaming in Smokahontas comment thread in YouTube // WiderScreen. 2016. №1–2. URL: <http://widerscreen.fi/numerot/2016-1-2/linguistic-anaead-on-youtube/> (дата обращения: 28.05.2022).





- Levinson S. C.* Pragmatics. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge, 1983.
- Machin D., Leeuwen T. van.* Global Media Discourse: A Critical Introduction. L., 2007.
- Martin J. R., Rose D.* Working with Discourse: Meaning Beyond the Clause. L. ; N. Y., 2007.
- Martin J. R., White P. R. R.* The Language of Evaluation. L., 2005.
- Rose D.* Genre in the Sydney School // The Routledge Handbook of Discourse Analysis / ed. by J. P. Gee, M. Handford. L. ; N. Y., 2012. P. 209–225.
- Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G.* A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation // Language. 1974. Vol. 50, №4. P. 696–735.
- Scollon R., Scollon S. W.* Nexus Analysis: Discourse and the emerging Internet. L. ; N. Y., 2004.
- Silverstein M.* Shifters, Linguistic Categories, and Cultural Description // Meaning in Anthropology / ed. by K. H. Basso, H. A. Selby. Albuquerque, 1976. P. 11–55.
- Silverstein M.* The Indeterminacy of Contextualization: When Is Enough Enough? // The Contextualization of Language / ed. by P. Auer, A. Di Luzio. Amsterdam, 1992. P. 55–76.
- Silverstein M.* Metapragmatic discourse and metapragmatic function // Reflexive language: Reported Speech and Metapragmatics / ed. by J. A. Lucy. Cambridge, 1993. P. 33–58.
- Spitzmüller J., Warnke I. H.* Discourse as a 'linguistic object': methodical and methodological delimitations // Critical Discourse Studies. 2011. Vol. 8, №2. P. 75–94.
- Swales J. M.* Genre Analysis: English in academic and research settings. Cambridge, 1990. 3<sup>rd</sup> ed.
- Szabla M., Blommaert J.* Does context really collapse in social media interaction? // Applied Linguistics Review. 2018. Vol. 9, №2. P. 251–279.
- Talbot M. M.* Media Discourse: Representation and Interaction. Edinburgh, 2007.
- Verschueren J.* Understanding pragmatics. L., 1999.
- Verschueren J.* Notes on the role of metapragmatic awareness in language use // Pragmatics. 2000. Vol. 10, №4. P. 439–456.
- Verschueren J.* Predicaments of Criticism // Critique of Anthropology. 2001. Vol. 21, №1. P. 59–81.
- Wortham S.* From Good Student to Outcast: The Emergence of a Classroom Identity // Ethos. 2004. Vol. 32, №2. P. 164–187.

### Об авторе

*Евгений Николаевич Молодыченко*, кандидат филологических наук, доцент департамента иностранных языков, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия.

Email: emolodychenko@hse.ru

ORCID ID: 0000-0003-4852-6741

### Для цитирования:

*Молодыченко Е. Н.* Уровни контекста: как анализ текста становится анализом дискурса? (на материале новых лайфстайл-медиа в сети Интернет) // Слово.ру: балтийский акцент. 2023. Т. 14, №1. С. 107–125. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-7.





LEVELS OF CONTEXT:  
WHEN AND HOW TEXTUAL ANALYSIS BECOMES  
DISCOURSE ANALYSIS:  
THE CASE OF INTERNET LIFESTYLE MEDIA

E. N. Molodychenko

Higher School of Economics National Research University  
16 Soyuzna Pechatnikov St., St. Petersburg, 190121, Russia

Submitted on May 20, 2022

Accepted on November 15, 2022

doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-7

Today the so-called problem of discourse should boil down to (1) identifying relevant contextual variables, (2) matching these to specific linguistic categories, and (3) operationalizing the former vis-à-vis the latter. Having posited this, the purpose of the article is twofold. In a more theoretical sense, the purpose is to outline one possible model of context each 'tier' of which is potentially related to certain linguistic categories and linguistic analytical toolkits. The suggested model has five tiers of contextual variables and two dimensions cutting through the five tiers. These dimensions are discourse (in the most general sense – as one of the 'moments' of social practice) and individuals (theorized here in two ways – in terms of cognition and as a complex of semiotic resources used to 'perform' identities). In a more practical sense, the purpose of the article is to use (certain fragments of) the model to analyze discourse. The discourse used for such analysis is a lifestyle instruction video from YouTube. Methodologically, the analysis draws on (1) the category of engagement as described in the Appraisal Model within Systemic Functional Linguistics and (2) the interpretation of discourse/text as simultaneously invoking different discourses and genres, as suggested in the Faircloughian approach to discourse analysis. When seen as a complex semiotic happening, the discourse is analyzed in terms of it being part of the YouTube media platform. It is contended that as a result of the communicative technology in question, which has drastically changed participatory frameworks for mediated communicative events of this sort, a minimal discursive unit of analysis and interpretation should include, in addition to the text and accompanying modalities (the discourse of the original video), comments made by other users (collaborative discourse). When seen more through the Foucauldian lens, the discourse of the video is analyzed as a discursive and generic hybrid invoking several social practices associated with consumer culture, which can (to a certain extent) be shown to have (pre)defined the contents, the language and possible interpretations by the tentative addressee.

**Keywords:** context, a model of context, contextualization, discourse analysis, text and discourse, lifestyle media, lifestyle discourse, consumerist discourse

#### References

- Andersen, T.H. and van Leeuwen, T.J., 2017. Genre crash: The case of online shopping. *Discourse, Context & Media*, 20, pp. 191–203, <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2017.06.007>.
- Arutyunova, N.D., 1990. Discourse. In: *Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar'* [Linguistic Encyclopedia]. Moscow, pp. 136–137 (in Russ.).
- Askehave, I. and Nielsen, A.E., 2005. Digital genres: A challenge to traditional genre theory. *Information Technology and People*, 18 (2), pp. 120–141, <https://doi.org/10.1108/09593840510601504>.
- Askehave, I. and Swales, J.M., 2001. Genre identification and communicative purpose: a problem and a possible solution. *Applied Linguistics*, 22 (2), pp. 195–212, <https://doi.org/10.1093/applin/22.2.195>.



Auer, P., 1992. Introduction: John Gumperz' Approach to Contextualization. In: P. Auer and A. Di Luzio, eds. *The Contextualization of Language*, pp. 1–37, <https://doi.org/10.1075/pbns.22>.

Auer, P., 2009. Context and contextualization. In: J.-O. Östman and J. Verschueren, eds. *Handbook of Pragmatics*. Amsterdam, pp. 86–101, <https://doi.org/10.1075/hoph.1.05aue>.

Beattie, G. and Ellis, A., 2018. Conversational Structure. In: *The Psychology of Language and Communication*. Londone, pp. 138–156, <https://doi.org/10.4324/9781315187198>.

Bell, D. and Hollows, J., 2005. Making sense of ordinary lifestyles. In: D. Bell and J. Hollows, eds. *Ordinary Lifestyles: Popular Media, Consumption and Taste*. Maidenhead, pp. 1–18.

Bhatia, V.K., 1993. *Analysing Genre: Language Use in Professional Settings*. London and New York.

Bhatia, V.K., 2015. Critical Genre Analysis: Theoretical Preliminaries. *HERMES-Journal of Language and Communication in Business*, 27 (54), pp. 9–20, <https://doi.org/10.7146/hjlc.v27i54.22944>.

Biber, D. and Conrad, S., 2012. *Register, Genre, and Style*. New York: Cambridge University Press, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511814358>.

Blommaert, J., 2005. *Discourse: A Critical Introduction*. Cambridge.

Blommaert, J., 2015. Meaning as a nonlinear effect: The birth of cool. *AILA Review*, 28, pp. 7–27, <https://doi.org/10.1075/aila.28.01blo>.

Boyd, M.S., 2014. (New) participatory framework on YouTube? Commenter interaction in US political speeches. *Journal of Pragmatics*, 72, pp. 46–58, <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2014.03.002>.

Chernyavskaya, V.E., 2003. Discourse. In: M.N. Kozhina., ed. *Stilisticheskii entsiklopedicheskii slovar' russkogo yazyka* [Stylistic Encyclopedia of Russian]. Moscow, pp. 53–55 (in Russ.).

Chernyavskaya, V.E., 2009. *Lingvistika teksta: Polikodovost', intertekstual'nost', interdiskursivnost'* [Text Linguistics: Multimodality, Intertextuality, Interdiscursivity]. Moscow (in Russ.).

Chernyavskaya, V.E., 2019. Corpus-Assisted Discourse Analysis of Russian University 3.0 Identity. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya* [Tomsk State University Journal of Philology], 58, pp. 97–114, <https://doi.org/10.17223/19986645/58/7> (in Russ.).

Chouliaraki, L. and Fairclough, N., 1999. *Discourse in late modernity: rethinking critical discourse analysis*. Edinburgh.

Coupland, N., 2007. *Style: Language variation and identity*. Cambridge.

de Beaugrande, R.-A., Dressler, W.U., 1981. *Introduction to text linguistics*. London and New York.

Demytyev, V.V., 2010. *Teoriya rechevykh zhanrov* [The Theory of Speech Genres]. Moscow (in Russ.).

Demytyev, V.V., 2020. Headlines With Figures in the Media: A Structural and Functional Analysis. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya* [Tomsk State University Journal of Philology], 63, pp. 5–27, <https://doi.org/10.17223/19986645/63/1> (in Russ.).

Devitt, A.J., 2009. Re-fusing form in genre study. In: J. Giltrow and D. Stein, eds. *Genres in the Internet: Issues in the Theory of Genre*. Amsterdam and Philadelphia, pp. 27–48.

Du Bois, J.W., 2014. Towards a dialogic syntax. *Cognitive Linguistics*, 25 (3), pp. 359–410, <https://doi.org/10.1515/cog-2014-0024>.

Eckert, P., 2008. Variation and the indexical field. *Journal of Sociolinguistics*, 12 (4), pp. 453–476, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9841.2008.00374.x>.



- Fairclough, N., 1992. *Discourse and Social Change*. Cambridge.
- Fairclough, N., 2003. *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. London and New York.
- Giltrow, J. and Stein, D., eds., 2009. *Genres in the Internet: Issues in the Theory of Genre*. Amsterdam and Philadelphia, <https://doi.org/10.1075/pbns.188>.
- Giltrow, J., 2010. Genre and difference: The sociality of linguistic variation. In: H. Dorgeloh and A. Wanner, eds. *Syntactic Variation and Genre*. Berlin and New York, pp. 1–26.
- Goodwin, C. and Duranti, A., 1992. Rethinking context: an introduction. In: A. Duranti and C. Goodwin, eds. *Rethinking Context*. Cambridge, pp. 1–42.
- Halliday, M.A.K. and Matthiessen, C.M.I.M., 2004. *An introduction to functional grammar*. London.
- Hodge, R. and Kress, G., 1988. *Social Semiotics*. Ithaca, New York.
- Jaffe, A., 2016. Indexicality, stance and fields in sociolinguistics. In: N. Coupland, ed. *Sociolinguistics: Theoretical Debates*. Cambridge, pp. 86–112, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107449787.005>.
- Jenkins, R., 2004. *Social Identity*. London and New York, <https://doi.org/10.4324/9780203292990>.
- Kok, K., Bergmann, K., Cienki, A. and Kopp, S., 2016. Mapping out the multi-functionality of speakers' gestures. *Gesture*, 15 (1), pp. 37–59, <https://doi.org/10.1075/gest.15.1.02kok>.
- Kozhina, M.N., 2002. *Rechevedenie i funktsional'naya stilistika: voprosy teorii. Izbrannye trudy* [Speech Studies and Functional Stylistics: The Theory. Selected Papers]. Perm (in Russ.).
- Lehti, L., Isosävi, J., Laippala, V. and Luotolahti, M., 2016. Linguistic analysis of online conflicts: A case study of flaming in Smokahontas comment thread in YouTube. *WiderScreen*, 1–2. Available at: <http://widerscreen.fi/numerot/2016-1-2/linguistic-anaead-on-youtube/> [Accessed 28 May 2022].
- Levinson, S.C., 1983. *Pragmatics. Cambridge Textbooks in Linguistics*. Cambridge.
- Machin, D. and van Leeuwen, T., 2007. *Global Media Discourse: A Critical Introduction*. London.
- Martin, J.R. and Rose, D., 2007. *Working with Discourse: Meaning Beyond the Clause*. London and New York.
- Martin, J.R. and White, P.R.R., 2005. *The Language of Evaluation*. London, <https://doi.org/10.1057/9780230511910>.
- Nefedov, S. T., Chernayvskay, V. E. Context in Linguistics: Pragmatic and Discourse Analytical Dimensions, 2020. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya* [Tomsk State University Journal of Philology], 63, pp. 83–97. doi: 10.17223/19986645/63/5.
- Rose, D., 2012. Genre in the Sydney School. In: J.P. Gee and M. Handford, eds. *The Routledge Handbook of Discourse Analysis*. London and New York, pp. 209–225.
- Sacks, H., Schegloff, E. A. and Jefferson, G., 1974. A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation. *Language*, 50, pp. 696–735, <https://doi.org/10.2307/412243>.
- Scollon, R. and Scollon, S.W., 2004. *Nexus Analysis: Discourse and the emerging Internet*. London and New York, <https://doi.org/10.1111/j.1360-6441.2006.00321b.x>.
- Silverstein, M., 1976. Shifters, Linguistic Categories, and Cultural Description. In: K. H. Basso and H. A. Selby, eds. *Meaning in Anthropology*. Albuquerque, pp. 11–55.
- Silverstein, M., 1992. The Indeterminacy of Contextualization: When Is Enough Enough? In: P. Auer and A. Di Luzio, eds. *The Contextualization of Language*, pp. 55–76, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Silverstein, M., 1993. Metapragmatic discourse and metapragmatic function. In: J.A. Lucy, ed. *Reflexive Language: Reported Speech and Metapragmatics*. Cambridge, pp. 33–58, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511621031.004>.



Spitzmüller, J. and Warnke, I.H., 2011. Discourse as a 'linguistic object': methodical and methodological delimitations. *Critical Discourse Studies*, 8 (2), pp. 75–94, <https://doi.org/10.1080/17405904.2011.558680>.

Swales, J.M., 1990. *Genre Analysis: English in academic and research settings*. 3d ed. Cambridge.

Szabla, M. and Blommaert, J., 2018. Does context really collapse in social media interaction? *Applied Linguistics Review*, 9 (2), pp. 251–279, <https://doi.org/10.1515/applirev-2017-0119>.

Talbot, M.M., 2007. *Media Discourse: Representation and Interaction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

van Dijk, T.A., 1980. *Macrostructures: An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction, and Cognition*. Hillsdale, New Jersey.

van Dijk, T.A., 1997. Cognitive Context Models and Discourse. In: M.I. Stamenov, ed. *Language Structure, Discourse and the Access to Consciousness*. Amsterdam and Philadelphia, pp. 189–226, <https://doi.org/10.1075/aicr.12.09dij>.

Verschueren, J., 1999. *Understanding pragmatics*. London, <https://doi.org/10.4324/9780203776476>

Verschueren, J., 2000. Notes on the role of metapragmatic awareness in language use. *Pragmatics*, 10 (4), pp. 439–456, <https://doi.org/10.1075/prag.10.4.02ver>.

Verschueren, J., 2001. Predicaments of Criticism. *Critique of Anthropology*, 21 (1), pp. 59–81, <https://doi.org/10.1177/0308275X0102100104>.

Wortham, S., 2004. From Good Student to Outcast: The Emergence of a Classroom Identity. *Ethos*, 32 (2), pp. 164–187, <https://doi.org/10.1525/eth.2004.32.2.164>.

### The author

*Dr Evgeni N. Molodychenko*, Associate Professor, the Department of Foreign Languages at Higher School of Economics National Research University, St. Petersburg, Russia.

Email: [emolodychenko@hse.ru](mailto:emolodychenko@hse.ru)

ORCID ID: 0000-0003-4852-6741

### To cite this article:

Molodychenko, E.N., 2023, Levels of context: how textual analysis becomes discourse analysis: the case of Internet lifestyle media, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 14, no. 1, p. 107–125. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-7.



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  
БИНАРНОЙ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ  
ИСТИНА — ЛОЖЬ

*В. И. Заботкина*<sup>1</sup>

*Е. А. Боярская*<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Российский государственный гуманитарный университет  
Россия, 125047, Москва, Миусская площадь, д. 6

<sup>2</sup> Балтийский федеральный университет им. И. Канта  
Россия, 236016, Калининград, ул. Александра Невского, 14

Поступила в редакцию 20.05.2022 г.

Принята к публикации 15.11.2022 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-8

*Аксиологические категории и концепты, входящие в их состав, продолжают привлекать внимание исследователей. Развитие когнитивной лингвистики открыло новые перспективы изучения аксиологических событий, категорий и концептов, входящих в их состав. В статье представлен анализ структуры аксиологической бинарной оппозиции truth (истина / правда) – lie (ложь / обман), выполненный на материале английского языка. Вербализованный концепт truth в английском языке кодирует информацию как об объективно существующей истине, так и о субъективности ее восприятия и ретрансляции как правды. Прототипы концептуальных категорий truth и lie представлены в виде событийных фреймов. Комбинация методов дефиниционного и концептуального анализа позволила выполнить моделирование структуры анализируемых фреймов, определить их основные слоты, а также характер концептуальной информации, которую они фиксируют. Концептуальное моделирование структуры фреймов truth и lie позволило сделать вывод о схожести структуры фреймов по количеству и типу слотов, в то время как их концептуальное содержание является различным. Аксиологическая бинарная оппозиция truth – lie с концептуальной точки зрения представляет собой континуум с промежуточной зоной бленда «ни правда – ни ложь», инкорпорирующей концептуальные аксиологические парадоксы, которые создают основу манипулятивного воздействия.*

**Ключевые слова:** *правда, ложь, аксиология, концепт, фрейм, моделирование, структура*

### Введение

Отношения в рамках аксиологической бинарной оппозиции *истина – ложь* являются традиционной темой исследования в рамках разных отраслей науки, прежде всего философии, логики и аксиологии. Основы изучения данной оппозиции были заложены в работах Платона, Демокрита и Аристотеля. Последний интерпретировал отношения в рамках данной дихотомии следующим образом: «В самом деле, говорить, что сущее не существует или не сущее существует, это – ложь, а говорить, что сущее существует, и не-сущее не существует, это – правда» (Ари-



стотель, 2006, с. 139; перевод в редакции 1934 года). Над проблемой истины размышлял и Фома Аквинский, которому принадлежит ставшее классическим определение истины как гносеологической категории: «...истина определяется через сообразованность разума и вещи» (...per conformitatem intellectus et rei veritas definitur) (Фома Аквинский, 2006, с. 225).

Разные языки по-разному интерпретируют семантику слова истина. Например, с этимологической точки зрения в иврите истина — 'emèt [אמת] — является скорее теологическим понятием. Она означает «прочный, долговечный, стабильный, основанный на вере в союз между людьми и Богом» и уверенность в его обещании, что делает этот термин семантически аналогичным английскому truth (Кассен, 2011, с. 5; Dictionary of Untranslatables, 2014). В греческом истина ἀλήθεια (alêtheia) трактуется как противоположность скрытого. В латинском *veritas* понимается как «норма, надлежащее основание, правило, юридическая истина» (Cassin, 2014, p. 55).

Толкование значения слова 'истина' в русском языке — «противоположность лжи; все, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть» (Даль, 1881, с. 59) — сформировалось в результате диахронической эволюции контекстов употребления — от первоначального поэтического и религиозного толкования, через использование в юридическом и философском дискурсе, с последующим переносом его в область широкого научного нарратива.

Со времен Античности появилось множество теорий истины, среди которых особое место занимает неокорреспондентная теория истины, разработанная А. Тарским, хотя основы данной теории были заложены еще в работах Б. Рассела и Дж. Мура. Основной постулат теории Тарского заключается в том, что носителями истины могут быть предложения (sentences as truth-bearers), а истинность предложения определяется определенными свойствами составляющих его частей, в частности свойствами референции, то есть отношениями слова к внеязыковой объективно существующей действительности. Истина есть не соответствие предложений или пропозиций фактам, а соответствие наших выражений объектам реальной действительности (Glanzberg, 2021). Примечательно, что Тарский называл свою точку зрения «семантической концепцией истины» (Ibid.), что также доказывает необходимость анализа аксиологических дихотомий с позиций интегративной парадигмы исследований (Заботкина, 2017), в рамках классической и когнитивной лингвистики, философии и теории информации, на основе принципов динамической концептуальной семантики, основным постулатом которой является понятие процесса, в том числе процесса приращения и обмена информацией (Боярская и др., 2021; Scott, 2016).

Необходимо отметить, что в русском языке, в отличие от других европейских языков, существует два слова, которые соответствуют английскому 'truth' или немецкому 'Wahrheit' — 'истина' и 'правда'. В научном смысле они не являются синонимами. Размышления о природе отношений между правдой и истиной можно найти в работах Н. К. Ми-



хайловского, Н. А. Бердяева, М. М. Бахтина и многих других отечественных философов. При этом понимание сути того, что есть правда и каковы ее отношения с концептом истины, различается. Так, у Михайловского правда есть комбинация истины и справедливости (см.: Черников, Перевозчикова, 2015), у Бердяева правда отождествляется с истиной (Бердяев, 1991; 1995), а у Бахтина правда есть единство фактического и смыслового наполнения поступка (Бахтин, 1985).

‘Правда’ (этимологически от праслав. *pravida*), определяемая как «истина на деле, истина во образе, во благе; правосудие, справедливость»; правдивость — «полное согласие слова и дела, истина» (Даль, 1882, с. 391) является не только аксиологическим, но и онтологическим концептом, так как соотносится и интерпретируется человеком. Носителем правды является субъект, и, следовательно, правда в этом смысле является субъектной категорией.

В отличие от правды, истина в большей мере является объективно данной реальностью. Она служит для описания мира, в то время как правда — для его понимания и толкования (Знаков, 1994).

‘Истина’ и ‘правда’ формируют полюс аксиологической оппозиции *правда / истина — ложь*. Известно, что аксиологические дихотомии и категории используются для характеристики абсолютной или сравнительной ценности объекта или свойства, поиска ответов на философские вопросы «что есть хорошо / плохо», какова степень «хорошести», что есть «аксиологическая ценность».

Существует ряд концептуальных бинарных оппозиций, которые по своим базовым признакам прототипа могут быть причислены к основным аксиологическим категориям, например *добро vs зло, хорошо vs плохо* и т.д. Как отмечает А. А. Зализняк, для языковой картины мира (а она вторична по отношению к концептуальной) «характерно противопоставление высокого и низкого, небесного и земного, внутреннего и внешнего... то есть [характерна] аксиологическая поляризация» (Зализняк, 2006, с. 256). Аксиологическая поляризация может выражаться не только в вербализации бинарных концептуальных оппозиций типа *добро — зло*, но и в формировании и вербализации концептов, соотношенных по степени выраженности некой ценности. Примером этого в русском языке являются *долг — обязанность, добро — благо* и, конечно, *правда — истина*.

## Результаты

В рамках данного исследования, выполненного на материале английского языка, анализируется концептуальная оппозиция *truth — lie*. Необходимо отметить, что в английском языке существительное ‘truth’ является полисемантом, то есть в его структуре присутствуют значения, соответствующие в русском существительным ‘правда’ и ‘истина’.

Дефиниционный анализ показал, что вербализованный концепт *truth* в английском языке кодирует информацию как об объективно





существующей истине, так и об определенной доле субъективности в ее восприятии и ретрансляции как правды, так как носителем правды выступает субъект. Например, *Collins Dictionary* приводит следующее определение лексической единицы *truth*:

1. The truth about something is all the facts about it, *rather than things* that are imagined or invented;
2. If you say that there is some truth in a statement or story, *you mean* that it is true, or *at least partly true*.

Лексикографы отражают субъективный характер концептуальной информации, фиксированной данным существительным, включая в дефиницию “*rather than things that are imagined or invented*” (объективность versus субъективность) и “*you mean that it is true, or at least partly true*” (субъективность и признание относительности интерпретации факта).

Аналогичный подход к описанию значения демонстрирует и *Oxford English Language Dictionary*:

1. The truth [singular] the true facts about something, *rather than the things that have been invented or guessed*;
2. The quality or state of *being based on fact*;
3. [Countable] a fact that is *believed by most people to be true*.

При этом факт наличия субъективного подчеркивается средствами выражения неопределенности — “*is being based on fact*” (на основании фактов, но конечный результат гипотетически может и не быть истинной), “*is believed by most people to be true*” (семантика глагола ‘believe’ не предполагает объективного, равно как и ‘most people’ оставляет концептуальное пространство для ‘остальных’). Необходимо отметить, что средства выражения неопределенности, а также хеджирование, подобное представленному в примерах ниже, часто используются в различных типах дискурса:

“What I said in it is *the truth to the best of my knowledge*; *what is true is that I know*”

“Sometimes we want to tell our kids *the truth to the best of our ability*, but we may not know how” (British National Corpus).

Данные примеры подчеркивают субъективный характер сообщения, считаемого правдой, так как в них присутствуют вербальные выражения допущения: “*to the best of my knowledge*” (но это может быть и не так), “*to the best of our ability, but we may not know how*” (старались донести правду, но могло не получиться).

Подобного рода субъективные допущения отражают и существующие в английском языке идиомы:

“*bend the truth*” — to say something that is not true or that misleads people but that is usually not regarded as a serious or harmful lie;



“stretch the truth” – to say something that is not exactly true, to describe something as larger or greater than it really is;

“play fast and loose with the truth” – to behave in a clever and dishonest way;

“shade the truth” – to alter the truth to a small extent or degree;

“be economical with the truth” – to avoid stating the true facts about a situation, or lying about it.

В приведенных выше английских идиомах правда / истина концептуализируется как нечто, что может быть подвергнуто деформации, сгибу, растяжению, затемнению и т. д., что концептуально приближает такого рода правду ко лжи. Это является иллюстрацией размытости границ концепта *truth* и существования так называемой ‘серой’ зоны бленда, который формируется континуумом *truth – lie*.

Дефиниционный и концептуальный анализ позволяет осуществить моделирование структуры концепта *truth*, который может быть представлен в виде фрейма, включающего следующие слоты:

Агнс – инициатор диктума;

Отношение агенса к диктуму;

Пациенс – адресат диктума;

Мотив – события, предшествующие диктуму;

Цель – цель, преследуемая агенсом, формулирующим диктум;

Диктум – сообщение, соответствующее объективной реальности;

Характер диктума – факты, характеристики фактов;

Манера выражения диктума – эксплицитная, имплицитная;

Восприятие диктума агенсом – позитивное, негативное, нейтральное, иное;

Постэффект диктума – события, следующие за диктумом;

Контр-агнс(ы) – агнс(ы), препятствующий диктуму или деформирующий его.

Проиллюстрируем структуру фрейма примером описания конфликтной ситуации, в которой пациенс излагает правду:

But the case is now in jeopardy after Clarke, who had been unemployed and was receiving benefits, took a shop job to comply with welfare laws that oblige benefits claimants to look for work. Under the previous system, Clarke could have obtained a specialist form of insurance to protect her if she lost the case and had to pay the MoD’s legal bill. But the market for this type of insurance has dried up and drastic cuts to legal aid mean she no longer qualifies for funding, even though the job she has taken pays a low wage.

“I was absolutely devastated when legal aid was taken away from me,” said Clarke. “It seemed so unfair. Legal aid had been in place for so long. I told the truth about starting work. I needed to work. I did not lie. Everything was then taken away from me. All of a sudden, I could lose my home by continuing my case, because I had no protection against the MoD’s legal costs. This felt like a punishment for telling the truth. It was nothing to do with how important my case was to me, or to thousands of other families and soldiers who would benefit if the case was won.” (Guardian)



Инициатором диктума является женщина по имени *Clarke*, а содержание диктума представлено ее детальным описанием ситуации *"Clarke, who had been unemployed and was receiving benefits, took a shop job to comply with welfare laws that oblige benefits claimants to look for work... Legal aid had been in place for so long. I told the truth about starting work."* Адресатом диктума в данном случае выступают социальные службы, ответственные за предоставление или лишение социальных выплат. Мотивом диктума явилось стремление сказать правду *"to tell the truth"*, а целью — *"to comply with welfare laws that oblige benefits claimants to look for work"*. В данном случае эксплицитное выражение диктума имело негативные постэффекты — лишение социальных выплат, приведшее к состоянию отчаяния: *"I was absolutely devastated when legal aid was taken away from me?"*, а также неутешительный вывод о том, что *"This felt like a punishment for telling the truth"*.

Анализ концептуального содержания слота 'постэффекты' показывает, что содержание может иметь амбивалентный характер — то есть быть воспринято положительно и иметь положительный эффект, равно как и может вызвать отрицательную реакцию, так как сообщаемая правда может быть неприятной для контр-агенса. В русском языке, например, этот концептуальный процесс нашел отражение в пейорации значения слова 'правдолюб'.

Вторым полярным концептом аксиологической оппозиции является концепт *lie*. Наиболее общепринятым определением лжи является следующее: «Ложь — это заявление, сделанное тем, кто в него не верит, с намерением заставить кого-то другого поверить в него» (Isenberg, 1973, p. 248).

Структура фрейма LIE совпадает со структурой фрейма TRUTH, однако концептуальное содержание слотов будет отличаться. Необходимо отметить, что это будет касаться концептуального содержания практически всех слотов из представленных ниже:

- Агнс — инициатор диктума;
- Отношение агенса к диктуму;
- Пациенс — адресат диктума;
- Мотив — события, предшествующие диктуму;
- Цель — цель, преследуемая агенсом, формулирующим диктум;
- Диктум — сообщение, не соответствующее объективной реальности;
- Характер диктума — факты, характеристики фактов;
- Манера выражения диктума — эксплицитная, имплицитная;
- Восприятие диктума агенсом — позитивное, негативное, нейтральное, иное;
- Постэффект диктума — события, следующие за диктумом;
- Контр-агнс(ы) — агнс(ы), препятствующий диктуму или деформирующий его.

Иллюстрацией структуры события LIE может послужить пример, представленный ниже:

...As a teenage worker my mother had broken a recently established pattern. When she left school in 1927, she hadn't gone into the sheds. She **lied** to me,



though, when I asked at about the age of eight what she'd done: she said she'd worked in an office, done clerical work. Ten years later, on a visit to Burnley and practising the skills of the oral historian, I talked to my grandmother, and she, puzzled, told me that Edna had never worked in any office, had in fact been apprenticed to a drycleaning firm that did tailoring and mending. On the same visit, the first since my early childhood, I found a reference written by a local doctor for my mother, who about 1930 applied for a job as a ward maid at the local asylum, confirming that she was clean, strong, honest and intelligent. I wept over that of course, for a world where some people might doubt her — my — cleanliness.

В данном случае агенсом диктума (сообщения, которое не соответствует реальности) выступает мать пациента, что подтверждается его эксплицитным утверждением — “she lied to me”. Здесь слот отношения агенса к диктуму, равно как и мотив события, остается лакунарным, так как в ограниченном фрагменте дискурса отсутствует прямая или косвенная референция к причинам, а следовательно, и к отношению агенса, к содержанию диктума. Мотив и цель диктума, преследуемые агенсом, выводимы инферентно — стремление казаться более успешным (“she said she'd worked in an office, done clerical work”). Искаженные факты, которые не имели места, были выражены в эксплицитной манере. Постэффекты диктума охватывают значительный временной промежуток — “Ten years later, on a visit to Burnley”, а реакции пациента и контр-агенса на содержание диктума описываются глаголом ‘puzzle’: “I talked to my grandmother, and she, puzzled, told me that Edna had never worked in any office”. Постэффектом диктума в данном примере является острое чувство сопереживания, так как изначальный мотив и цель лжи были вызваны стремлением казаться более успешным в глазах сына.

Этот и множество других примеров приводят к размышлению о разном типе концептуального содержания слотов не только собственно диктума, но слотов мотива и цели фрейма LIE. Так, в английском языке существуют вербализованные концепты типа “white lie” — “if you refer to an untrue statement as a white lie, you mean that it is made to avoid hurting someone's feelings or to avoid trouble, and not for an evil purpose” (Collins Dictionary), а в русском «ложь во спасение» — «ложь, оправдываемая благими целями» (Серов, 2004, с. 138). Иными словами, наличие благого мотива и цели заведомой неправды делает факт лжи не просто ограниченно приемлемым, а приемлемым совершенно и прагматически оправданным не только агенсом, но и пациентом и контр-агеном.

Проведенное исследование на материале английского языка показало, что аксиологическая оппозиция осмысляется в виде континуума с крайними точками ‘правда / истина’ и ‘ложь / обман’, а также зоной бленда ‘ни правда — ни ложь’. Именно эта зона фиксирует информацию о новых концептах, а следовательно, и парадоксальных с точки зрения аксиологии лексических единицах определенного типа, которых численно больше в английском языке:

1. Alternative truth — a blatant lie (<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=alternative%20truth>);

2. Post truth — a time when objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief (OELD);



3. Counter-truth(s) – a truth expressed in opposition to the proposed truth (<https://en.wiktionary.org/wiki/countertruth>);

4. Counter-knowledge – misinformation packaged to look like a fact (<https://en.wiktionary.org/wiki/>);

5. Alternative facts – falsehoods, untruths, delusions (<https://www.dictionnaire.com/e/slang/alternative-facts/>).

Данные концепты вербализуются посредством добавления основ *alternative* и *counter*, что создает впечатление множественности возможных вариантов существования объективной реальности и также подчеркивается наличием формы множественного числа у *counter-truths*. Интересно, что лексические единицы данного типа не были заимствованы в русском языке, о чем свидетельствует нулевой результат поиска в Национальном корпусе русского языка.

### Выводы

Анализ структуры аксиологических бинарных оппозиций *truth – lie*, выполненный на основе материала современного английского языка и данных корпусов, позволил построить концептуальную модель фреймов TRUTH и LIE. Данные концепты принадлежат к полярным областям концептуального континуума. Размытие границ данных концептов под действием причин экстралингвистического характера (интенсификация информационных потоков и увеличение собственно объема информации) привело к формированию зоны бленда ‘ни правда – ни ложь’, инкорпорирующей аксиологические парадоксы альтернативной истины, полуправды и т.д. Формирование концептуального континуума, зоны бленда, а также схожесть структуры фреймов TRUTH и LIE создает множественные точки концептуальной аксиологической референции, порождая условия для ее дальнейшего расширения, предоставляя точки альтернативной референции, искажая восприятие истинности фактов реальной действительности и, таким образом, закладывая основу манипулятивного воздействия.

*Публикация подготовлена в рамках проекта РНФ 22-18-00594 «Когнитивные модели идентификации и противодействия манипуляциям в медийном пространстве».*

### Список литературы

Аристотель. Метафизика. М., 2006.

Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. 1984–1985 гг. М., 1985. С. 82–138.

Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи : сборник статей о русской интеллигенции. Свердловск, 1991. С. 6–25.

Бердяев Н. А. Религия воскресения («Философия общего дела» Н. Ф. Федорова) // Грезы о Земле и небе. Антология русского космизма. СПб., 1995. С. 242–258.

Боярская Е. Л., Шевченко Е. В., Томашевская И. В. Изменения концептуальной структуры аксиологической категории: эволюция или деволуция // Первый Национальный конгресс по когнитивным исследованиям, искусственному интеллекту и нейроинформатике. Девятая международная конференция по когнитивной науке : сб. науч. тр. : в 2 ч. М., 2021. С. 726–727.



Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб. ; М., 1881. Т. 2.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб. ; М., 1882. Т. 3.

Заботкина В.И. Репрезентация событий в когнитивных моделях и дискурсе: Аксиосфера культуры // Репрезентация событий: интегрированный подход с позиций когнитивных наук. М., 2017. С. 28 – 45.

Зализняк А.А. Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006.

Знаков В.В. Категории правды и лжи в русской духовной традиции и современной психологии понимания // Вопросы психологии. 1994. №2. С. 55 – 64.

Кассен Б. В защиту непереводаемости. Беседа с Михаэлем Устинофф // Логос. 2011. №5 – 6. С. 4 – 2.

Серов В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М., 2004.

Фома Аквинский. Сумма теологии. М., 2006. Ч. 1.

Черников М.В., Перевозчикова Л.С. Категории «правда» и «истина» в русской культуре // Историческая психология и социология истории. 2015. Т. 8, №2. С. 143 – 156.

Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon / ed. by B. Cassin. Princeton, 2014.

Glanzberg M. Truth // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition) / ed. by E.N. Zalta. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/truth/> (дата обращения: 01.09.2022).

Isenberg A. Deontology and the Ethics of Lying // Aesthetics and Theory of Criticism: Selected Essays of Arnold Isenberg. Chicago, 1973. P. 245 – 264.

Martin S. Supplemental Update // Semantics and Pragmatics. 2016. Vol. 9, art. 5. P. 1 – 61. doi: 10.3765/sp.9.5.

## Об авторах

*Вера Ивановна Заботкина*, доктор филологических наук, профессор, проректор по международному сотрудничеству, руководитель научно-образовательного Центра когнитивных программ и технологий, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия.

E-mail: [zabotkina@rggu.ru](mailto:zabotkina@rggu.ru)

ORCID ID: 0000-0001-6674-8052

*Елена Леонидовна Боярская*, кандидат филологических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия; научный сотрудник, Центр когнитивных программ и технологий, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия.

E-mail: [EBoyarskaya@kantiana.ru](mailto:EBoyarskaya@kantiana.ru)

ORCID ID: 0000-0003-0179-8643

### Для цитирования:

Заботкина В.И., Боярская Е.Л. Концептуальная структура бинарной аксиологической оппозиции *истина – ложь* // Слово.ру: балтийский акцент. 2023. Т. 14, №1. С. 126 – 136. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-8.





## CONCEPTUAL STRUCTURE OF THE BINARY AXIOLOGICAL OPPOSITION TRUTH – LIE

V.I. Zabotkina<sup>1</sup>, E.L. Boyarskaya<sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup>Russian State University for the Humanities,  
6 Miusskaya Sq., Moscow, 125047, Russia

<sup>2</sup>Immanuel Kant Baltic Federal University,  
14 Nevskogo St., Kaliningrad, 236016, Russia

Submitted on May 20, 2022

Accepted on November 15, 2022

doi: 10.5922/2225- 5346-2023-1-8

*Axiological categories and the concepts they consist of have always been a major area of interest in science. The development of cognitive linguistics has opened new perspectives for the study of axiological events, categories and concepts within them. This article explores the structure of the axiological binary opposition truth-lie, based on the material of the English language. In English, the verbalised concept truth encodes information about both objective truth as well as its subjective perception and re-translation. A combination of methods – definitional, frame and conceptual analyses – makes it possible to investigate and model the structure of the frames TRUTH and LIE, identify their main slots and the type of conceptual information they encode. The results of the analyses suggest that the two frames have the same structure and the same number and type of slots. However, the conceptual content of the slots is different. From the conceptual point of view, the axiological binary opposition truth – lie is a continuum having an intermediate blend zone “neither truth nor lie”, incorporating the axiological paradoxes, which form the conceptual basis of manipulation.*

**Keywords:** truth, lie, axiology, concept, frame, modelling, structure

### References

- Aristotle, 2006. *Metafizika* [Metaphysics]. Moscow (in Russ.).
- Bakhtin, M.M., 1985. *K filosofii postupka. Filosofiya i sotsiologiya nauki i tekhniki. Ezhegodnik. 1984 – 1985 gg.* [To the philosophy of action. Philosophy and Sociology of science and Technology. Yearbook. 1984 – 1985]. Moscow, pp. 82 – 138 (in Russ.).
- Berdyayev, N.A., 1995. The Religion of Resurrection (“Philosophy of the Common Cause” by N.F. Fedorov). In: *Grezy o Zemle i nebe* [Dreams of Earth and sky]. St. Petersburg, pp. 242 – 258 (in Russ.).
- Berdyayev, N.A., 1991. Philosophical Truth and intellectual Truth. In: *Vekhi (sbornik)*. Sverdlovsk (in Russ.).
- Boyarskaya, E.L., Shevchenko, E.V. and Tomashevskaya I.V., 2021. Changes in the conceptual structure of the axiological category: evolution or devolution. In: *I National Congress on Cognitive Research, Artificial Intelligence and Neuroinformatics, CAICS 2020*, pp. 726 – 727 (in Russ.).
- Cassin, B., 2011. In defense of untranslatability. Conversation with Mikael Ustinoff. *Logos*, 5 – 6 (84), pp. 4 – 12 (in Russ.).
- Cassin, B., Apter, E. and Lezra, J., 2014. *Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon*. Princeton.
- Chernikov M. V., Perevozchikova L.S., 2015, Kategorii “pravda” i “istina” v russkoy kul'ture [The categories of “pravda” and “istina” in Russian culture]. *Historical Psychology and the Sociology of History*, 8 (2), pp. 143 – 156 (in Russ.).
- Dal, V.I., 1881. *Tolkovyi slovar' zhivogo veikorusskogo yazyka* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian language]. St. Petersburg and Moscow, T. 2 (in Russ.).



- Dal, V.I., 1882. *Tolkovyi slovar' zhivogo veikorusskogo yazyka* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian language]. St. Petersburg and Moscow, T. 3 (in Russ.).
- Glanzberg, M., 2021. Truth. In: E.N. Zalta, ed. *Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition)*. Available at: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/truth/> [Accessed 01 September 2022].
- Isenberg, A., 1973. Deontology and the Ethics of Lying. In: *Aesthetics and Theory of Criticism: Selected Essays of Arnold Isenberg*. Chicago, pp. 245–264.
- Martin, S., 2016. Supplemental Update. *Semantics and Pragmatics*, 9 (5), <https://doi.org/10.3765/sp.9.5>.
- Serov, V., 2004. *Encyclopaedic Dictionary of Catch Phrases and Expressions*. Moscow (in Russ.).
- Thomas Aquinas, 2006. *Summa teologii* [Summary of theology]. Moscow, part 1 (in Russ.).
- Zabotkina, V.I., 2017. Event representation: an integrated approach from the perspective of cognitive sciences: Axiosphere of culture. In: *Reprezentatsiya sobytiy: integririvannyi podkhod s pozicii kognitivnykh nauk*: [Event representation: an integrated approach from a cognitive science perspective]. Moscow (in Russ.).
- Zaliznyak, A.A., 2006. *Mnogoznachnost' v yazyke i sposoby ee predstavleniya* [Ambiguity in language and ways of its representation]. Moscow, 672 p. (in Russ.).
- Znakov, V.V., 1994. Categories of truth and Lies in the Russian Spiritual Tradition and modern Psychology of Understanding. *Voprosy Psichologii* [Questions of psychology], 2, pp. 55–64 (in Russ.).

### The authors

*Dr Vera I. Zabotkina*, Professor, Vice-rector for International Cooperation, Director of the Centre for Cognitive Programmes and Technology, Russian State University for the Humanities, Russia.

E-mail: [Zabotkina@rggu.ru](mailto:Zabotkina@rggu.ru)

ORCID ID: 0000-0001-6674-8052

*Dr Elena L. Boyarskaya*, Associate Professor, Higher School of Philology and Cross-cultural Communication, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia; Research Fellow, Centre for Cognitive Programmes and Technology, Russian State University for the Humanities, Russia.

E-mail: [EBoyarskaya@kantiana.ru](mailto:EBoyarskaya@kantiana.ru)

ORCID ID: 0000-0003-0179-8643

### To cite the article:

Zabotkina, V.I., Boyarskaya, E.L., 2023, Conceptual structure of the binary axiological opposition *truth – lie*, *Slovo.ru: baltic accent*, Vol. 14, no. 1, p. 126–136. doi: 10.5922/2225-5346-2023-1-8.





## ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «СЛОВО.РУ: БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ»

### Правила публикации статей в журнале

1. Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной, содержать постановку задач (проблем), описание основных результатов исследования, полученных автором, выводы, а также соответствовать правилам оформления.

2. Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не публиковавшимся ранее в других печатных изданиях. При отправке рукописи в редакцию журнала автор автоматически принимает на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично без согласия редакции.

3. Рекомендованный объем статьи — до 1,5 п.л.; научного сообщения — до 0,5 п.л. (включая заглавие, аннотацию, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках).

4. Все присланные в редакцию рукописи проходят двойное «слепое» рецензирование, а также проверку по системе «Антиплагиат», по результатам чего принимается решение о возможности включения статьи в журнал. Уровень оригинальности авторских материалов по данным системы «Антиплагиат» должен составлять не менее 80 % (с учетом оформленного цитирования и самоцитирования).

5. Плата за публикацию рукописей не взимается.

6. Для рассмотрения редакционной коллегией статья может быть отправлена по электронной почте главному редактору либо ответственному редактору журнала. Также статья может быть подана на рассмотрение через электронную форму на сайте Единой редакции научных журналов БФУ им. И. Канта: <http://journals.kantiana.ru/>

7. Решение о публикации (доработке, отклонении) статьи принимается редакционной коллегией журнала после ее рецензирования и обсуждения.

### Комплектность и форма представления авторских материалов

1. Статья должна содержать следующие элементы:

- индекс УДК, который должен достаточно подробно отражать тематику статьи (основные правила индексирования по УДК см.: <http://www.naukapro.ru/metod.htm>);

- название статьи строчными буквами на русском и английском языках;
- аннотацию на русском и summary на английском языке (200–250 слов); аннотация располагается перед ключевыми словами после заглавия, summary — после статьи перед references;

- ключевые слова на русском и английском языках (4–10 слов); располагаются перед текстом после аннотации;

- список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5.-2008, и references на латинице (Harvard System of Referencing Guide);

- сведения об авторе(-ах) на русском и английском языках (Ф. И. О. полностью, ученая степень, звание, должность, место работы, e-mail, контактный телефон, почтовый адрес места работы).

2. Оформление списка литературы.

- Список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5.-2008, приводится в конце статьи в алфавитном порядке без нумерации. Сначала перечисляются источники на русском языке, затем — на иностранных языках.

Если в списке литературы есть несколько публикаций одного автора одного года издания, то рядом с годом издания каждого источника ставятся буквы *a*, *b* и др. Например:

Брюшинкин В. Н. Взаимодействие формальной и трансцендентальной логики // Кантовский сборник. 2006. №26. С. 148–167.

Кант И. Прелегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Сочинения : в 8 т. М., 1994а. Т. 4.

Кант И. Метафизические начала естествознания // Сочинения : в 8 т. М., 1994б. Т. 4.

Howell R. Kant's Transcendental Deduction: An Analysis of Main Themes in His Critical Philosophy. Dordrecht ; Boston ; L., 1992.

• Источники, опубликованные в интернет-изданиях или размещенные на интернет-ресурсах, должны содержать точный электронный адрес и обязательно дату обращения к источнику (в круглых скобках) по образцу:

Walton D. A. Reply to R. Kimball. URL: [www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07ThreatKIMB.pdf](http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07ThreatKIMB.pdf) (дата обращения: 09.11.2009).

### 3. Оформление references.

В английский блок статьи необходимо добавить список литературы на латинице (references), оформленный по требованиям *Harvard System of Referencing Guide*: сначала дается автор, затем год издания. В отличие от списка литературы, где авторы выделяются курсивом, в references курсивом выделяется название книги (журнала). В квадратных скобках дается перевод на английский язык названия указанного источника, если он издан не на латинице. Например:

**Книга на кириллице:** Borisov, K. G. 1988, *Mehanizm pravovogo regulirovanija processa internacionalizacii mnogostoronnih nauchno-tehnicheskikh sojazej v sovremennoj vseobshhej sisteme gosudarstvo* [The mechanism of legal regulation of the internationalization process of multilateral scientific and technical relations in the modern system of universal], Moscow, 363 p.

**Книга на латинице:** Keohane, R. 2002, *Power and Interdependence in a Partially Globalized World*, New York, Routledge.

**Журнальная статья на кириллице:** Dezhina, I. G. 2010, Menjajushhiesja priority mezhdunarodnogo nauchno-tehnologicheskogo sotrudnichestva Rossii [Changing priorities of international scientific and technological cooperation between Russia], *Ekonomicheskaja politika* [Economic policy], no. 5, pp. 143–155, available at: [www.iep.ru/files/text/policy/2010\\_5/dezgina.pdf](http://www.iep.ru/files/text/policy/2010_5/dezgina.pdf) (accessed 08 April 2013).

**Журнальная статья на латинице:** Johanson, J., Vahlne, J.-E. 2003, Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process, *Journal of International Entrepreneurship*, no. 1, pp. 83–101.

Более подробно с правилами составления references можно ознакомиться на сайте: [libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm](http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm)

### 4. Оформление ссылок на литературу в тексте.

• Ссылки на литературу в тексте даются в круглых скобках: автор или название источника из списка литературы и через запятую год и (для цитаты) номер страницы: (Кант, 1994а, с. 197) или (Howell, 1992, p. 297).

• Ссылка на многотомное издание: автор или название источника из списка литературы, затем через запятую год, номер тома и номер страницы: (Шопенгауэр, 2001, т. 3, с. 22).

5. Предоставленные для публикации материалы, не отвечающие вышеизложенным требованиям, в печать не принимаются, не редактируются и не рецензируются.

## Общие правила оформления текста

Авторские материалы должны быть подготовлены *в электронной форме* в формате А4 (210 × 297 мм).

Все текстовые авторские материалы принимаются исключительно в формате *doc* и *docx* (Microsoft Office).

Подробная информация о правилах оформления текста, в том числе таблиц, рисунков, ссылок и списка литературы, размещена на сайте Единой редакции научных журналов БФУ им. И. Канта: <https://journals.kantiana.ru/journals/slovoru/pravila-oformleniya/>

## Порядок рецензирования рукописей

1. Все рукописи, поступившие в редколлегию, проходят двойное «слепое» рецензирование.

2. Главный редактор журнала определяет соответствие статьи профилю журнала, требованиям к оформлению и направляет ее на рецензирование специалисту, доктору или кандидату наук, имеющему наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.

3. Сроки рецензирования определяются с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.

4. В рецензии устанавливается:

а) соответствует ли содержание статьи заявленной в названии теме;

б) насколько статья соответствует современным достижениям научно-теоретической мысли в данной области;

в) доступна ли статья читателям, на которых она рассчитана, с точки зрения языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул;

г) целесообразна ли публикация статьи с учетом имеющейся по данному вопросу литературы;

д) в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть внесены автором;

е) рекомендуется (с учетом исправления отмеченных рецензентом недостатков) или не рекомендуется статья к публикации в журнале.

5. Текст рецензии направляется автору по электронной почте.

6. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, главный редактор журнала направляет автору текст рецензии с предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргументированно (частично или полностью) их опровергнуть. Доработанная (переработанная) автором статья повторно направляется на рецензирование.

7. Статья, не рекомендованная к публикации хотя бы одним из рецензентов, к повторному рассмотрению не принимается. Текст отрицательной рецензии направляется автору по электронной почте, факсом или обычной почтой.

8. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редколлегией.

9. После принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации ответственный редактор информирует об этом автора и указывает сроки публикации.

10. Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течение пяти лет.

## SLOVO.RU: THE BALTIC ACCENT JOURNAL

### Guide for authors

1. The journal welcomes relevant and novel contributions. Articles submitted should include problem formulation, results, and conclusions and comply with the guide requirements.

2. Submitted materials should be original and not published elsewhere. Upon submitting an article to the journal, the author undertakes not to publish the article elsewhere, in whole or in part, without consent from the editorial board of the journal.

3. The recommended length of an article is 40,000 characters and that of a report is 20,000 characters with spaces, abstracts, keywords, and references in Russian and English.

4. All submitted contributions are subject to double-blind peer review and plagiarism scanning. The acceptable similarity index is below 20%.

5. There is no charge for publication.

6. To be considered by the editorial board, contributions are submitted via e-mail to the editor-in-chief or the publishing editor. Alternatively, authors can use the submission form on the IKBFU Journals website at <http://journals.kantiana.ru/>

7. The decision on the acceptance, improvement, or rejection of articles is made by the editorial board, following peer review and discussion.

### Article structure and style

1. Contributions should include:

- a Universal Decimal Classification index (UDC) most relevant to the topic of the article;
- the title of the article in English and Russian, all lowercase;
- abstracts in English and Russian (200–250 words); the abstract in Russian is placed after the title and before the keywords; the summary in English is placed after the body of the article and before the references;
- keywords in Russian and English (4–10 words); keywords are placed before the body of the article after the abstract;
- references in Russian prepared according to GOST R 7.0.5.-2008 and Harvard-style references in the Latin script;
- a brief autobiographical note in Russian and English, including the full name(s), academic title(s), affiliation(s), e-mail address(es), phone number(s), and work address(es) of the author(s).

2. References.

• References prepared according to GOST R 7.0.5.-2008 are given at the end of the article in alphabetical order, unnumbered. Sources in Russian are listed first, followed by those in foreign languages. If works that have the same author and were written in the same year are cited, a lowercase letter (*a*, *b*, etc.) should be used after the date to differentiate between the works. For example:

*Брюшинкин В.Н.* Взаимодействие формальной и трансцендентальной логики // Кантовский сборник. 2006. №26. С. 148–167.

*Кант И.* Прологомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Сочинения : в 8 т. М., 1994а. Т. 4.

Кант И. Метафизические начала естествознания // Сочинения : в 8 т. М., 1994б. Т. 4.

Howell R. Kant's Transcendental Deduction: An Analysis of Main Themes in His Critical Philosophy. Dordrecht; Boston; L., 1992.

• If an online source is cited, the reference should include the exact URL for the article and the date of accession, parenthesised. For example:

Walton D. A. Reply to R. Kimball. URL: [www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07ThreatKIMB.pdf](http://www.dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/07ThreatKIMB.pdf) (accessed 09.11.2009).

### 3. References in the Latin script.

The English-language part of the article should contain Harvard-style references in the Latin script: name of the author(s) followed by the year of publication. The title of the book (journal) should be italicised. If a work has not been published in a language using the Latin script, an English translation of the title should be provided in brackets. For example:

**Cyrillic-script book:** Borisov, K. G. 1988, *Mehanizm pravovogo regulirovaniya processa internacionalizacii mnogostoronnih nauchno-tehnicheskikh sojazej v sovremennoj vseobshnej sisteme gosudarstv* [The mechanism of legal regulation of the internationalization process of multilateral scientific and technical relations in the modern universal system of states], Moscow.

**Latin-script book:** Keohane, R. 2002, *Power and Interdependence in a Partially Globalized World*, New York, Routledge.

**Cyrillic-script article:** Dezhina, I. G. 2010, Menjajushhiesja priority mezhdu narodnogo nauchno-tehnologicheskogo sotrudnichestva Rossii [Changing priorities of Russia's international scientific and technological cooperation], *Ekonomicheskaja politika* [Economic policy], no. 5, pp. 143–155, available from: [www.iep.ru/files/text/policy/2010\\_5/dezgina.pdf](http://www.iep.ru/files/text/policy/2010_5/dezgina.pdf) (accessed 08 April 2013).

**Latin-script article:** Johanson, J., Vahlne, J.-E. 2003, Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process, *Journal of International Entrepreneurship*, no. 1, pp. 83–101.

For more details on Harvard-style referencing, see [libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm](http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm)

### 4. In-text referencing.

• In-text references should be parenthesised and include the name(s) of the author(s), the year of publication, and the page number (for citations), separated by commas. For example: (Howell, 1992, p. 297).

• References to multi-volume works: the name(s) of the author(s), the year of publication, the volume number, and the page number, separated by commas (Schopenhauer, 2001, 3, 22).

5. A failure to meet the above requirements may result in the rejection of a manuscript.

## Formatting

Manuscripts should be submitted in an electronic format as an a4-size document (210 × 297 mm).

Contributions are accepted in the *doc* and *docx* formats only (Microsoft Office).

For more details on the text, table, and figure formatting and referencing, see the IKBFU Journals website at

<https://journals.kantiana.ru/journals/slovoru/pravila-oformleniya/>

## Peer review process

1. All submitted contributions are subject to double-blind peer review.
2. The editor-in-chief establishes whether submitted works fit the scope and comply with the standards of the journal and submits them for review to an expert with relevant qualifications, holding a doctoral or postdoctoral degree.
3. The review period is such as to ensure prompt publication of accepted articles.
4. The review establishes:
  - a) whether the content of the article corresponds to its title;
  - b) whether the contribution is in line with the latest findings in the field;
  - c) whether the language, style, and layout of the text, tables, diagrams, figures, and formulae make the work clear to readers;
  - d) whether the article contains original research;
  - e) what the strengths and weaknesses of the article are and what improvements should be made;
  - f) whether the manuscript is suitable for publication in the journal.
5. The review is sent to the author via e-mail.
6. If a reviewer recommends reworking the article, these recommendations are sent to the author with suggestions for revision. The author(s) has(ve) the right to defend his/her(their) position. A revised article is resubmitted for review.
7. An article that has been rejected by at least one reviewer cannot be resubmitted. The text of a negative review is sent to the author via e-mail, fax, or regular mail.
8. A positive review is a necessary but not sufficient condition for publication. A final decision is made by the editorial board.
9. If a positive decision is made, the publishing editor notifies the author(s) and inform him/her(them) of the publication date.
10. The editorial board keeps reviews for five years.

СЛОВО.РУ:  
БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ

SLOVO.RU:  
BALTIC ACCENT

2023

Том 14  
Vol.  
№ 1

Редактор *И. О. Дементьев*. Корректор *П. С. Щербаков*  
Компьютерная верстка *Г. И. Винокуровой*

Copy-edited by *I. Dementev, P. Shcherbakov*  
Layout by *G. Vinokurova*

Подписано в печать 31.01.2023 г.  
Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. л. 12,5  
Тираж 300 экз. (1-й завод – 50 экз.). Заказ 20  
Свободная цена

Signed 31.01.2023  
Page format 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Reference printed sheets 12,5  
Edition 300 copies (first print: 50 copies). Order 20  
Free price

Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта  
236001, г. Калининград, ул. Гайдара, 6

Immanuel Kant Baltic Federal University Press  
6 Gaidara st., Kaliningrad, 236001, Russia